
ЛЕНИН
ОГОНЁК
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА», МОСКВА
№ 45 НОЯБРЬ 1974
С ПРАЗДНИКОМ,
ТОВАРИЩИ!



MOSCOU INVITE LES JEUX
OLYMPIQUES
MOSCOW WELCOMES
THE OLYMPIC GAMES
MOSCU INVITA A
LOS HUEGOS
OLIMPICOS
МОСКВА
ПРИГЛАШАЕТ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
80

Перед началом переговоров. Фото А. Гостева.

СССР-ФРГ: СОТРУДНИЧЕСТВО РАЗВИВАЕТСЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!





ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 45 (2470)

Основан 1 апреля 1923 года

2 НОЯБРЯ 1974

28 октября в Москву с официальным визитом прибыл федеральный канцлер Федеративной Республики Германии Гельмут Шмидт в сопровождении федерального министра иностранных дел ФРГ Ганса-Дитриха Геншера.

На Внуковском аэродроме, украшенном государственными флагами ФРГ и Советского Союза, федерального канцлера, других официальных лиц у трапа самолета встречали Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин, первый заместитель Председателя Совета Министров СССР К. Т. Мазуров, министр иностранных дел СССР А. А. Громыко и другие официальные лица.

28 октября в Кремле начались переговоры между Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым, Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным, министром иностранных дел СССР А. А. Громыко и федеральным канцлером ФРГ Гельмутом Шмидтом и заместителем федерального канцлера, федеральным министром иностранных дел ФРГ Гансом-Дитрихом Геншером.

Обе стороны подвели итог развития отношений между СССР и ФРГ. Они констатировали, что на основе договора от 12 августа 1970 года, явившегося важной исторической вехой в отношениях между СССР и ФРГ, а также последующих договоренностей и соглашений успешно развивается сотрудничество между обеими странами в различных областях. С удовлетворением отмечен значительный рост экономических связей.



КОНКУРС ФИНИШИРУЕТ

25 октября население ПНР увеличилось, помимо естественного прироста населения, еще ровно на одиннадцать человек. В Варшаву прибыли в сопровождении корреспондента «Огонька» победители конкурса «Моя встреча с Польшей».

Конкурс, посвященный 30-летию народной Польши и объявленный в одном из апрельских номеров нашего журнала, собрал большое число участников. Письма, пришедшие в редакцию с пометкой «На конкурс», составили взволнованный рассказ о Польше, нашем соседе и друге. И вот подведены итоги, определены победители — 10 человек, которые по путевкам польского бюро путешествий «Орбис» совершают поездку в братскую страну. Первый шаг по польской земле они сделали в Москве, на улице Адама Мицкевича. Здесь, в посольстве ПНР в СССР, состоялась дружеская встреча, на которой лауреатов приветствовали сотрудники посольства, советские и польские журналисты.

— Знаменательно то, что среди обладателей высшей награды конкурса — люди, чьи судьбы кровно связаны с нашей страной: Антонина Гуговна Лобачева, сын которой погиб в Польше в марте 1945 года, Всеволод Степанович Королев и Анатолий Васильевич Куделин — участники освобождения Польши,— сказал в своем выступлении советник — полномочный министр посольства ПНР в СССР Владислав Наперай.— Мне представляется характерным, что среди них — люди разных возрастов, разных профессий, из разных концов огромной страны. Это говорит о том, какой интерес проявляют советские люди к достижениям Польской Народной Республики. Я выражаю сердечную благодарность редакции «Огонька», организовавшей конкурс. Специальный номер журнала, посвященный 30-летию нашей республики, освещение на его страницах визита Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева в Польшу и этот замечательный конкурс — проявления глубокой, братской дружбы между польским и советским народами.

Советник посольства К. Костшева вручил призерам памятные подарки.

Руслан Бушков приехал из далекого села в Марийской АССР, ему 17 лет. Несмотря на молодость, Руслан тоже в числе победителей. «Ничего удивительного,— сказал по этому поводу один из журналистов.— Он вырос среди людей, которые знают и любят Польшу».

А вот одно из интервью этого вечера.

— С чего началось ваше увлечение Польшей?

Эвальд Федорович Марченко, детский врач из Орши, отвечает:

— В 1947 году стал изучать польский язык. С 1950-го выписываю газеты и журналы. Собрал библиотеку на польском языке. Когда польская молодежная газета «Штандар млодых» проводила конкурс «Кто твой друг?», я ответил: «Польша!».

— Удалось вам «заразить» кого-нибудь своей привязанностью?

— Да, многие из моих друзей увлекаются польской наукой, литературой, кино. Дочь переписывается со школьницей из Польши. Очень я рад этой поездке. Ведь в Познани нашим гидом будет Здислав Дудик, мой друг из Познанского университета.

В гости к Польше едут также Н. В. Бобовникова, работница полиграфического комбината в Калинине, токарь китобазы «Дальний Восток» Н. К. Вознюк из Владивостока, экскаваторщик на строительстве ИнгуриГЭС в Абхазской АССР Р. А. Гогебашвили, старший мастер автомобильного завода в Луцке Г. Д. Марач, инженер-технолог из Ленинграда Н. Н. Моногарова.

Б. ЛАБУТИН

Встреча в посольстве ПНР. Слева направо: советник — полномочный министр посольства Владислав Наперай, директор представительства польского бюро путешествий «Орбис» в СССР Зенон Новаковски, победители конкурса «Моя встреча с Польшей» Э. Ф. Марченко, Р. А. Гогебашвили, А. Г. Лобачева.

Интервью корреспонденту польского радио и телевидения В. Пиотровскому дает Анатолий Васильевич Куделин, инженер-геолог из Кировска.

Фото Г. Макарова.

ВИЗИТ З. А. БХУТТО

По приглашению Советского правительства с 24 по 26 октября 1974 года в Москве с официальным визитом находился Премьер-Министр Исламской Республики Пакистан Зульфикар Али Бхутто.

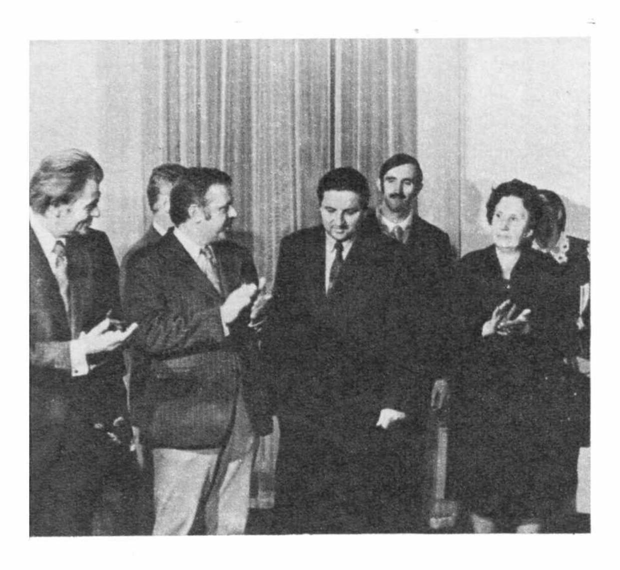
Премьер-Министр З. А. Бхутто был принят Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым.

Между Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным и Премьер-Министром Пакистана состоялись переговоры.

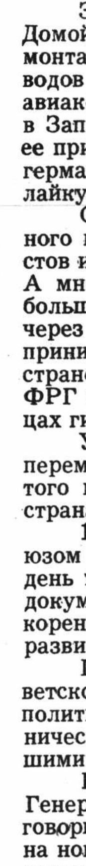
В ходе бесед и переговоров, проходивших в атмосфере взаимопонимания и откровенности, были обсуждены вопросы советско-пакистанских отношений, а также международные проблемы, представляющие взаимный интерес.

На снимке: советско-пакистанские переговоры.

Фото С. Смирнова.









ГЛУБОКИЕ СДВИГИ

Альберт ГРИГОРЬЯНЦ

Это был обычный рейс Аэрофлота по трассе Москва — Франкфурт-на-Майне. Домой возвращалась группа западногерманских специалистов, участвовавших в монтаже оборудования для производства полиэтилена на одном из химических заводов в СССР; в Федеративную Республику направлялся известный советский авиаконструктор, пассажирский самолет которого нашел ценителей и покупателей в Западной Германии; популярная певица Большого театра летела в Висбаден — ее пригласили выступить в «Аиде». А рядом со мной уютно пристроился западногерманский турист, который бережно держал на коленях русский сувенир — балалайку.

Обычный рейс Аэрофлота... В самом деле, сегодня уже нет ничего удивительного в том, что инженеры и артисты, ученые и туристы, люди различных возрастов и профессий из Советского Союза едут в ФРГ и из ФРГ — в Советский Союз. А мне вспоминается моя первая поездка в Западную Германию, состоявшаяся больше десяти лет назад. Прямой связи тогда не было. Приходилось добираться через третьи страны. Это были годы конфронтации и напряженности. Бундестаг принимал решения, запрещавшие экспорт труб в Советский Союз. Правившие страной лидеры ХДС/ХСС открыто домогались ядерного оружия, а школьники ФРГ изучали географию по картам, на которых Германия изображалась в границах гитлеровского рейха.

Уже сам состав пассажиров нашего самолета показателен для тех глубоких перемен, которые произошли в отношениях между Советским Союзом и ФРГ, для того широкого диапазона связей, которые успешно развиваются между нашими странами в области политики, экономики, науки, техники, культуры.

12 августа 1970 года — памятный день в отношениях между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германии, в истории всей Европы. В этот день в Москве был подписан договор между СССР и ФРГ. Главный смысл этого документа состоит в том, что он создал необходимую политическую основу для коренного поворота в советско-западногерманских отношениях, их всестороннего развития.

Прошло немного времени, и пункты договора стали наполняться жизнью. Советско-западногерманские отношения развиваются благоприятно. Осуществляются политические консультации. Налаживается взаимовыгодное экономическое сотрудничество на долгосрочной основе. Ширятся культурные и иные связи между нашими странами.

Важной вехой в развитии отношений между СССР и ФРГ является визит Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева в ФРГ в мае 1973 года. Переговоры, состоявшиеся на Рейне, подняли советско-западногерманские отношения на новую ступень. Подписаны соглашения, которые содействуют дальнейшему расширению и углублению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Итак, на наших глазах происходит исторический сдвиг в отношениях между Советским Союзом и ФРГ, сдвиг, который благотворно сказывается на политическом климате всей Европы. Наиболее важным его проявлением является сотрудничество обеих стран в области политической, прежде всего в решении проблем европейской безопасности. Регулярными стали контакты между руководителями обеих стран. Новое подтверждение этого — официальный визит федерального канцлера Гельмута Шмидта в СССР. Обозреватели различных направлений расценивают поездку канцлера как стремление Бонна «продолжать политику разрядки с Востоком, составной частью которой является диалог с Советским Союзом».

Другой зримый результат глубоких перемен в советско-западногерманских отношениях — налаживающееся крупномасштабное и долгосрочное экономическое сотрудничество. Именно такого рода кооперация сроком на многие годы становится ныне возможной между СССР и ФРГ.

Успешно развивается советско-западногерманская торговля. В нынешнем году ее оборот достигнет двух миллиардов рублей. Таким образом, ФРГ стала крупнейшим внешнеторговым партнером СССР среди капиталистических стран. Она закупает у нас нефть, газ, руду, металлы, лесоматериалы. С каждым годом растут поставки в ФРГ советских машин и оборудования: самолетов «Як-40», вертолетов «К-26», сухогрузных судов, полиграфических машин, прокатного оборудования, оптики. В свою очередь, западногерманские фирмы продают нам оборудование и машины для самых различных отраслей индустрии, трубы, потребительские товары.

Подписаны крупные контракты на компенсационной основе. Один из них — об участии фирм ФРГ в строительстве металлургического комбината под Курском мощностью 5 миллионов тонн металлизированных окатышей и 2,8 миллиона тонн проката в год.

Разумеется, развитие добрососедских отношений между нашими странами не устраивает правые силы ФРГ. Оппозиционный блок ХДС/ХСС делает все, чтобы помешать наполнению реальным содержанием советско-западногерманского договора. Реакция связывала определенные расчеты со сменой руководства на Рейне. Но эти расчеты не оправдались. Новое правительство подтвердило свое намерение продолжать «восточную политику» прежнего кабинета Брандта — Шееля.

Время подтвердило жизненность и эффективность советско-западногерманского сотрудничества. Недоверие и неприязнь, накопившиеся за десятилетия, устраняются. Перемены, происходящие в отношениях между СССР и ФРГ, служат интересам народов обеих стран, разрядке напряженности и упрочению безопасности на нашем континенте.

Член Политбюро ЦК КПСС М. А. Суслов вручает Узбекистану орден Октябрьской Революции.

ЯВЬ МЕЧТЫ Д



Вячеслав КОСТЫРЯ,
фото В. СВАРИЧЕВСКОГО
Специальные корреспонденты
«Огонька»

Торжественно отмечен золотой юбилей Советского Узбекистана. Такого грандиозного праздника никогда еще не было на этой древней земле. Историческая суть его особенно ярко проявилась на демонстрации трудящихся, когда проезжали по ташкентской площади имени Ленина открытые легковые машины, в которых восседали убеленные сединами ветераны революции, гражданской войны, первых пятилеток.

За полвека преодолено расстояние от чадящего светильника до атомного реактора, от деревянной сохи — омача до комплекса машин по возделыванию хлопка, от дехканского ослика до самолета.

Ответом неисчислимых белых хлопковых гор, поднявшихся на заготовительных пунктах Узбекистана, засверкала праздничная иллюминация столичного города, куда съехались гости со всего Советского Союза.

При вручении Узбекской ССР ордена Дружбы народов Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев говорил: «Плоды гигантской работы партии, самоотверженного труда миллионов рабочих и колхозников, ученых и деятелей культуры мы с гордостью видим в сегодняшнем расцвете Узбе-



В праздничной колонне.

ЕРЗНОВЕННОЙ

кистана. Душа радуется, когда смотришь на ваши великолепные города, современные заводы и фабрики, на тщательно возделанные поля и цветущие сады».

...Проспект Ленина с его Аллеей Парадов. В канун юбилея здесь поднялся на тридцатиметровую высоту величественный памятник Владимиру Ильичу Ленину, созданный выдающимся советским скульптором Н. В. Томским и архитектором С. Р. Адыловым. Скульптуру отливали из бронзы и монтировали ленинградцы, гранит прислала Украина, металл — уральцы....

...22 октября. Празднично украшен Ташкентский Дворец искусств. К десяти часам утра в зале собрались члены ЦК Компартии Узбекистана, депутаты Верховного Совета Узбекской ССР, руководители партийных и советских организаций, передовики промышленности и сельского хозяйства, деятели науки и культуры, воины Советской Армии, гости из всех союзных республик, городов Москвы, Ленинграда, Иванова, делегация ЦК ВЛКСМ.

Аплодисментами встретили участники торжественного заседания товарищей М. А. Суслова, П. М. Машерова, Ш. Р. Рашидова, Г. В. Романова.

Присутствуют гости из Болгарии — делегации Хасковского округа и Всенародного комитета болгаро-советской дружбы.

Торжественное заседание открыл кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Ш. Р. Рашидов.

Светом ленинских идей, сказал он, озарен наш сегодняшний день. Он олицетворяет собой нерасторжимую дружбу народов СССР — несокрушимую, как гранит, беспредельную, как океан.

У истоков объединения и сплочения всех наций и народностей страны, у истоков нашей большой дружбы стоял великий Ленин. Наша партия, ее ленинский Центральный Комитет, Политбюро и лично Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев, следуя заветам Ленина, постоянно укрепляют, цементируют и развивают братскую дружбу народов советских социалистических республик.

Тепло встреченный собравшимися, выступил член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС товарищ М. А. Суслов.

В самом начале своей яркой, глубоко содержательной речи он сказал:

В этом году полувековой юбилей отмечают несколько союзных республик. И юбилей каждой из республик нашей многонациональной социалистической Родины — это событие общесоюзного, общенародного значения.

Вот и сегодня пятидесятилетие Советского Узбекистана вместе с вами отмечают все народы нашей страны. В этом зале мы видим делегации всех союзных республик. Здесь незримо присутствуют миллионы русских и украинцев, белорусов и казахов, грузин и азербайджанцев, литовцев и молдаван, латышей и киргизов, таджиков и армян, туркменов и эстонцев, трудящихся всех наций и народностей Советского Союза. Они от души радуются выдающимся успехам братского Узбекистана, который вносит большой вклад в общее дело построения коммунизма в нашей стране.

В конце речи товарищ М. А. Суслов сообщил, что трижды орденоносный Узбекистан в связи с его пятидесятилетием награжден четвертым орденом — орденом Октябрьской Революции. Бурными, продолжительными аплодисментами встречает зал это сообщение.

С докладом о 50-летии Узбекской Советской Социалистической Республики и Компартии Узбекистана выступил кандидат в члены Политбюро, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана товарищ Ш. Р. Рашидов. Затем с приветственными речами выступили руководители делегаций.

Под бурные, долго не смолкающие аплодисменты принимается приветственное письмо участников торжественного заседания Центральному Комитету КПСС, Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР.

На следующий день многокрасочное юбилейное торжество охватило улицы Ташкента. В десять часов утра фанфары возвестили начало парада частей Краснознаменного Туркестанского военного округа.

Завершился парад, и на площадь хлынул поющий, веселый людской поток. Впереди — сводный отряд знаменосцев в ярких национальных костюмах. Над колоннами — транспаранты, диаграммы, макеты, иллюстрирующие этапы развития республики на полувековом пути строительства социализма, показывающие орлиные высоты достигнутого — явь мечты дерзновенной.

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ



Рамз БАБАДЖАН,
лауреат Государственной премии СССР

Праздник вдвойне прекрасен,
Если подарком красен,
В этом — подарка суть!
Сердце мое, гори,
С эпохою говори!
В добрый путь!
В добрый путь!

Подарок —
радости светлой росток!
Говорит народ,
мудростью владеющий:
Имеющий цветок приносит цветок,
Луковицу приносит
луковицу имеющий.

Настал и мой срок,
Золотому юбилею
от меня —
несколько строк!

Празднику предшествует
народа указ —
Лучшее напоказ:
Хлопка горы белые,
Плоды спелые,
Гул машин
И сиянье вершин...

Ничего
для праздника
не жалей!
Спросит неведающий:
— Чей юбилей? —
Даже
летящий вдали
За много, много миль
от Земли,
Космонавт,
соотечественник мой,
сын века,
Разглядит улыбку
на лице узбека...

С дороги —
Друзья на пороге —
Русские и иные
Нации, кровно родные,
Рады обнять вас
и руки пожать.
— Добро пожаловать!
Добро пожаловать!

* * *

Мы пахали и строили,
Веря в свою звезду.
Пусть рубахи
белы от соли,
Но поля — в цвету,
Фабрики — на ходу.
Вот он,
творчества край,
изобилия край,
дел — через край,
выбирай!

Ветра
в садах
зазвенели.
Уступив
напору
людского труда,
Потекла
в пустыню
по каналам вода
Звонко,
словно это запели
Халима,
Наима,
Салима...
Люди радоваться спешили,
Даль была ясна...

Вдруг выстрел,
война!

На защиту — вся страна,
На святую борьбу
все,
как один.

По святому праву
Отец и сын,

Закрывая веки,
Умирая,
оставались живыми навеки
Для отчего края.

Наша партия в бой их вела,
Победителям честь и хвала!

Я узбек из военного года,
Из той армии,
из того взвода,
И нынче исполню любой приказ!

Дальше веду рассказ:
Годами строительства
сменились годы борьбы,

Снова листаем
мы
золотую тетрадь судьбы,

Снова дела
мы
решаем разные,
На вахте мира,
на вахте разума!

Все больше
богатство наше,
Все краше
Узбекистан, все краше!

Край солнечных,
щедрых даров —
Хлопка,
цветов,
плодов!

На сердце весна,
всюду
отблеск ее,
Яркое,
радостное житье!

У древней мудрости —
Юный лик:
Бухара,
Самарканд,
Нукус,
Алмалык,
Джизак,Навои,
Термез,
Карши —
Все лицом и душой хороши!
Ташкент —
столица,
Лелеемая нами,
Правофланговый, несущий знамя.
Не забыть землетрясенья —
залпа в упор,
Гремящие ночи
и руку друга,
Что тянулась к нам
От лесов и гор

С востока, с запада,
с севера, с юга.
Обгоняя друг друга,
Поспешили на помощь
стар и млад,
Застучали сердца в лад.
Поднимался город,
вставал из руин,
На улицах — русский
и грузин,
Украинец,
белорус,
казах,—
Решимость в глазах.
Армянин,
молдаванин,
туркмен...

Сколько вокруг перемен!
Вырастал
за кварталом
квартал,
«Город хлебный»
«городом дружбы» стал.

Новые здания
из новых камней.

Но зазвучали тесней,
Чем в старые времена,
Вечные имена
Пушкина и Горького,
Хамзы, Навои.

Все для нашего города —
Родные, свои.

Факел,
что Ленин дал нам в руки,
Подхватили
дворцы науки.

Факел!
Факел
Любви и горения!

Добро пожаловать,
поколения!

Все человечество,
Молодежь, старики,
В дом соотечественника
На берегу реки!

Встречает вас
осени нашей щедрость,
Ласковость, нежность.

Она предложить вам рада
Свои сады
В янтаре винограда,
Хлопок белый, как снег —
пять миллионов тонн,—
хватит на всех!

И золото красное —
закату в цвет,
И черное,
дающее тепло и свет.
Пятьдесят лет!
Пятьдесят лет!
Встречая новый рассвет,
Говорит узбек нежно:
— Спасибо вам,
дорогой товарищ Брежнев!

Спасибо, спасибо,
люди труда,
Растящие хлеб
и строящие города!

Спасибо вам,
соратники, товарищи, братья,
Живущие, творящие вблизи и вдали!
Спасибо вам,
матери, простирающие объятья
К детям —
к будущему нашей Земли!

Перевела с узбекского
Светлана **КУЗНЕЦОВА.**

Ташкент.

ОЛИМПИАДА-80 В МОСКВЕ



«Предоставить честь проведения организации Олимпийских игр в 80-м году городу Москве».
Это решение вынесла 75-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК), заседавшего в Вене.

На торжественном приеме, который был дан под занавес сессии Международного олимпийского комитета городами-победителями Москвой и Лейк-плейсидом, я спросил президента МОК лорда Микаэля Килланина, какой он видит Олимпиаду в Москве.

«Убежден, это будут хорошие Игры. Думаю, Москве удастся добиться успехов по всем статьям...»

Весомые олимпийские аргументы Москвы заключаются в ее великолепных спортивных комплексах. Опыт организации крупнейших международных спортивных состязаний, радушие и умение принять гостей — все это, подкрепленное письменными заверениями Президиума Верховного Совета СССР провести Игры XXII Олимпиады в полном соответствии с олимпийской хартией, произвело на членов МОК весьма благожелательное впечатление. В первом же туре голосования Москва уверенно победила.

Тайной, похороненной в водах Дуная, назвал на заключительной пресс-конференции президент МОК цифровые итоги голосования. И в этом, очевидно, была своя логика. Главное было оглашено: предпочтение в праве проведения Летних игр отдано Москве.

Как только это стало известно, весь журналистский корпус устремился в будущее. С каких шагов Москва начнет свой предолимпийский марш? Сколько Олимпиада-80 примет гостей? Какие объекты будут построены? Эти и многие другие вопросы были обращены к руководителям делегации советской столицы — председателю Исполкома Моссовета В. Ф. Промыслову и председателю Спорткомитета СССР С. П. Павлову и задавались при каждом удобном, а порой и неудобном случае. И каждый раз я видел удовлетворение на лицах моих коллег по перу: они получали конкретные, четкие и обстоятельные ответы.

Вот несколько ответов руководителей советской делегации:

«Игры в Москве будут первыми Олимпийскими играми, проведенными в социалистической стране. Решение МОК — это своеобразное признание спортивных заслуг и достижений не только советского спорта, но и спорта всех социалистических стран, без которых сегодня немыслимо олимпийское движение».

«Мы рассчитываем, что в каждый день Игр в городе одновременно будет находиться полмиллиона гостей. Всем спортсменам и сопровождающему их персоналу, а также представителям международных спортивных федераций, прессы, радио, телевидения и другим лицам, имеющим отношение к организации Игр, будет обеспечен беспрепятственный въезд в Советский Союз. Это в равной мере касается и туристов».

«В Москве 5 475 спортивных сооружений, но для того, чтобы провести Олимпиаду по самым высоким стандартам, намечено дополнительно построить ряд современных спортивных арен для пловцов и прыгунов в воду, борцов и боксеров, гандболистов и фехтовальщиков, волейболистов и стрелков из лука, конников и велосипедистов. К 1980 году в Москве появятся новые гостиницы и кемпинги, рестораны и бары, будут проложены новые транспортные магистрали. Затраты на олимпийское строительство не отразятся на расходах по развитию городского хозяйства».

Делегация Москвы тепло прощалась с гостеприимной Веной. В самолете, на котором советская делегация возвращалась домой, то и дело возникало горячее, заинтересованное обсуждение проблем, которые необходимо будет решить для организации Олимпиады-80. И вспомнились мне слова председателя Спорткомитета СССР Сергея Павлова, сказанные в Вене зарубежным журналистам:

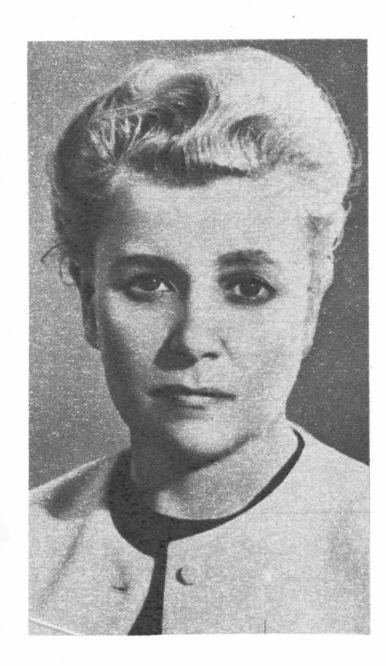
«Чувство радости, а вместе с тем и духовный подъем, который мы обрели в связи с победой Москвы, будут с первых же дней трансформированы в конкретные дела на благо Олимпиады-80».

Сергей ПОПОВ,
корреспондент АПН,
специально для «Огонька»

Вена — Москва.

На 2-й странице обложки:
Плакат, выпущенный издательством «Физкультура и спорт».
Художник А. Махов.

Екатерина Алексеевна ФУРЦЕВА



24 октября с. г. на 64-м году жизни скоропостижно скончалась член Центрального Комитета КПСС, министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева. Ее смерть — тяжелая утрата для Коммунистической партии и Советского государства.

Е. А. Фурцева родилась в 1910 году в г. Вышнем Волочке Калининской области в семье рабочего. Она прошла большой путь от работницы текстильной фабрики до видного партийного и государственного деятеля.

В 1924 году Е. А. Фурцева вступила в ряды Ленинского комсомола, работала секретарем Кореневского райкома ВЛКСМ Курской области, секретарем Феодосийского горкома комсомола, в аппарате ЦК ВЛКСМ. В 1930 году Е. А. Фурцева была принята в члены Коммунистической партии Советского Союза. Будучи студенткой Московского института тонкой химической технологии имени М. В. Ломоносова, Е. А. Фурцева избиралась секретарем партийной организации института. В годы Великой Отечественной войны она была секретарем Фрунзенского райкома партии г. Москвы, с 1950 по 1957 год работала вторым, а затем — первым секретарем Московского городского комитета КПСС. В 1956 г. Е. А. Фурцева была избрана кандидатом в члены Президиума и секретарем ЦК КПСС, с 1957 по 1961 год являлась членом Президиума ЦК КПСС.

Находясь на руководящей партийной работе, Екатерина Алексеевна Фурцева неизменно уделяла большое внимание вопросам культурного строительства. С 1960 года и по последний день жизни она возглавляла Министерство культуры СССР. Работая на этом посту, Е. А. Фурцева последовательно проводила в жизнь ленинские принципы политики нашей партии, внесла большой вклад в развитие многонациональной социалистической культуры и укрепление ее международного авторитета. Она пользовалась искренним уважением и любовью советской художественной интеллигенции.

На XIX съезде партии Е. А. Фурцева была избрана кандидатом в члены ЦК КПСС, на XX, XXII, XXIII и XXIV съездах КПСС избиралась членом Центрального Комитета КПСС. Она являлась депутатом Верховного Совета СССР третьего, четвертого, пятого, седьмого и восьмого созывов.

Коммунистическая партия и Советское государство высоко оценили заслуги Е. А. Фурцевой. Она была награждена четырьмя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», многими медалями.

Светлая память о Екатерине Алексеевне Фурцевой, видном государственном деятеле, верной дочери Коммунистической партии, навсегда останется в наших сердцах.

Л. И. Брежнев, Ю. В. Андропов, А. А. Гречко, В. В. Гришин, А. А. Громыко, А. П. Кириленко, А. Н. Косыгин, Ф. Д. Кулаков, Д. А. Кунаев, К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, Н. В. Подгорный, Д. С. Полянский, М. А. Суслов, А. Н. Шелепин, В. В. Щербицкий, П. Н. Демичев, П. М. Машеров, Б. Н. Пономарев, Ш. Р. Рашидов, Г. В. Романов, М. С. Соломенцев, Д. Ф. Устинов, В. И. Долгих, И. В. Капитонов, К. Ф. Катушев, Г. Ф. Сизов, Н. К. Байбаков, М. П. Георгадзе, Л. И. Греков, А. А. Епишев, В. Ф. Промыслов, Е. М. Тяжельников, В. Ф. Шауро, Г. И. Владыкин, К. В. Воронков, Ф. Т. Ермаш, В. И. Кочемасов, Л. А. Кулиджанов, В. Ф. Кухарский, И. И. Лавров, С. Г. Лапин, Г. М. Марков, Н. И. Мохов, В. В. Николаева-Терешкова, Г. М. Орлов, Н. А. Пономарев, В. И. Попов, Н. В. Попова, А. В. Романов, М. С. Смиртюков, Б. И. Стукалин, Н. С. Тихонов, Н. В. Томский, З. П. Туманова, К. А. Федин, Т. Н. Хренников, М. И. Царев. В. Н. Ягодкин.



ХРАМОВЫ

Галина КУЛИКОВСКАЯ,
фото Л. ШЕРСТЕННИКОВА.
Специальные корреспонденты «Огонька»

Это было как сон, приснившийся много-много лет назад и увиденный вдруг наяву с отчетливостью, какой не бывает в самых радужных снах. Все оставалось на прежнем своем месте: заводоуправление, небольшой домик парткома и завкома, фабрика-кухня. И все между тем стало иным. Прежде всего потому, что над зданиями, заслоняя их могучими сросшимися кронами, властно поднялись деревья. И не верилось, что тогда, в сорок третьем, здесь был всего лишь скверик с кустарниками и редкими прутиками тополей. За сквериком, можно сказать, начинался конец света, пустынные окраины. Теперь, плавно обтекая зеленый массив, поток машин струится к проспекту Космонавтов, к новым кварталам огромного района.

Вот и те же самые, до мелочей знакомые, деревянные, покрытые коричневой масляной краской, стершиеся по краям ступени. Сколько раз я взбегала по ним на второй этаж, где находилась редакция заводской многотиражки! Ныне здесь весь этаж занял партком завода, Саратовского авиационного завода, строящего пассажирские самолеты «Як-40», столь блистательно зарекомендовавшие себя на всех континентах. Давно я собиралась побывать на этом заводе, давшем мне путевку в журналистику. И вот случилось так, что мои намерения совпали с заданием редакции — написать очерк о рабочей семье.

Мне называли десятки фамилий. В каждом цехе много замечательных семей. «Возьмите Храмовых. Храмов — Герой Социалистического Труда».

Но я допытывалась: «Сколько на заводе героев? Двое? Он и директор завода? Но это же нетипично». Шла в другие семьи, в другие дома. А потом все же вернулась к Храмовым, потому что по многим признакам эта семья оказалась типичной. В ней есть и проблемы. Такова жизнь! Попробуйте найти хотя бы одну семью, в которой бы все протекало безоблачно...

Семья Храмовых типична прежде всего по своему составу: отец, мать, двое детей, старший сын уже женился, живет отдельно. Есть еще бабушка и внук — налицо четыре колена династии. Типична и профессия главы семьи, кстати, одна из самых распространенных и самых дефицитных в стране: Михаил Федорович — токарь, токарь и его младший сын — Виктор. Типична эта семья и по отношению к труду: здесь любят трудиться и умеют ценить труд. Сам Храмов не просто станочник, он токарь высшего разряда, токарь-универсал. Про таких специалистов самолетостроители торжественно говорят: «Наши асы».

КАКОВ ОН, ГЕРОЙ!

Смотреть, как работает Михаил Федорович,— истинное удовольствие. Вот закрепляет он уже почти готовую сложнейшую деталь. Что только с ней не делали: отливали, растачивали, нарезали зубья, подвергали термической обработке, словом, касались ее уже десятки рабочих рук. Внутри, как планеты по орбитам, будут бегать три зубчатых колесика, и называется деталь «планетарка», или «венец» редуктора для очень важного узла в самолете. На венце осталось сделать последние операции. Доверяется это только очень опытному токарю, потому что не дай бог запороть уже готовый венец, в который вложено столько труда!

Михаил Федорович вооружается очками и сразу становится строгим и недоступным. Он весь внимание и сосредоточенность. Начинается проточка наружного диаметра венца, которым он впрессуется в корпус редуктора. При этом очень важно сохранить соосность со средним диаметром шестерен. Нарушится такое соотношение — значит, уже дефект. Тут величайшая точность, второй класс. Допуск всего лишь две сотых миллиметра. Величина, неуловимая глазом. Это же авиация!

Но вот, наконец, самое главное сделано. Теперь остается, с точки зрения профессионала, второстепенное — зачистка заусениц и притупление кромки. Чем же он будет работать? Резцом? Нет, он снял им лишь крохотную фаску и отвел суппорт назад, освободив себе место. Взял в руки оселок, которым в пору затачивать лезвие бритвы, и легонько коснулся им поверхности. Следующий инструмент уже и вовсе не токарный — тончайшая шкурка. Обернул шкуркой напильник, и, будто смахивая пыль, прислонил ее к вращающейся детали. Головка венца заиграла как никелированная. Так художник наносит последние мазки на картину перед тем, как снять ее с мольберта.

Я удивляюсь спокойной смелости, с которой работает Храмов. Какой же нужен безошибочный глаз и какая точная рука, чтобы делать все так уверенно! Уверенность эта не пришла сама собой, она выверена десятилетиями. Тридцать пять лет безотрывно Храмов в этом же цехе, в этом самом отделении. Уверенность эта подкреплена собственным поиском. За каждой новой деталью — приспособления, инструменты, которые он сам придумывает, технологические карты, которые он усовершенствовал. То есть работа не только рук и ума, но и сердца. И нет ей пределов и конца. Если надо, придет пораньше, уйдет попозже. Если надо, будет работать и в субботу. Чтоб работать так, мало знать свое дело, надо его любить. Вот тогда-то и начинается то, что отличает самое старательное ремесленничество от подлинного творчества...

Детали от Храмова идут на другие операции или прямо на сборку, минуя контролера. Такое право было предоставлено Михаилу Федоровичу одному из первых на заводе. Тут уместно сказать, что именно самолетостроители выступили инициаторами известного всей стране саратовского почина бездефектной сдачи продукции с первого предъявления. Достаточно вспомнить, какая у них продукция — не тачки же, «Як-40»,— чтобы постичь ту меру ответственности, какую они возложили на себя. Сегодня десятки узлов небесного лайнера уже имеют заводской знак качества, и на многих участках не найти контролеров — эта должность упразднена.

За таким же станком, что и у Храмова, крайним от пролета, стоит подросток. В тонких, узких по-девичьи руках легкая дюралевая деталька. Это младший сын Михаила Федоровича, Виктор, забота и надежда отца. Сам отец привел его сюда и стал первым его наставником. Специально определил в одном ряду с собой, чтоб не только учить, но и видеть и строго спрашивать.

По труду и заработок. **Михаил Федорович получает в месяц от трехсот до четырехсот рублей.** А бывает и больше. Вот так зарабатывает токарь наивысшей квалификации — не менее иного директора или начальника главка! Есть над чем задуматься нынешним десятиклассникам, выбирающим дорогу в жизни. Возможно, кто-то скажет, что Храмов — счастливое исключение, что у него талант и таких людей единицы. Разумеется, героями становятся не все, но ведь ими и не рождаются! Любопытен в этом отношении диалог с Георгием Петровичем Басовым, секретарем партийной организации цеха № 1, в котором работает Храмов, и я воспроизвожу его полностью.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Что, у Храмова наивысшая производительность труда и он зарабатывает у вас больше всех?

БАСОВ. Нет. Почему вы так думаете? У Поливоды, это наш ветеран, средний заработок, когда ему подсчитывали недавно для пенсии, получается 396 рублей. Он тоже токарь-универсал. Слесарь Емельянов недавно заработал за месяц 522 рубля. Зарабатывающих около трехсот рублей у нас немало — девятнадцать человек. Это все люди, выполнившие свою девятую пятилетку. Средний же заработок по цеху 140 рублей в месяц, бывает 130, а бывает и 150.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Почему же тогда именно Храмову присвоили высокое звание Героя Социалистического Труда?

БАСОВ. Золотую звезду он получил не сейчас, двенадцать лет назад, тогда он шел на уровне рекордов. Вообще Храмов работает очень ровно. Пятилетку выполнил за два с половиной года. Теперь как бы в семьдесят шестом году уже живет. Но и это еще не все.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Что вы имеете в виду?

БАСОВ. Как бы сказать пояснее? Критерий геройства у нас, рабочих, определяется не только количеством нормо-часов, выработанных за смену, за месяц, за годы, не только качеством и другими производственными показателями. С героя многое спрашивается. Ведь есть же у нас на заводе экстра-специалисты. И немало. Но человек человеку рознь. Подойдет, бывает, к такому «экстра» молодой рабочий, чтоб посмотреть, как он чудодействует, а тот от него ладошкой быстренько и недовольно прикроется. Постоит, постоит паренек и уйдет несолоно хлебавши. А вот у храмовского станка — не замечали? — часто кто-нибудь стоит. И Храмов в минуты отдыха или переналадки обязательно начнет объяснять и показывать. А сколько у него учеников было! Очень многих он вывел в токари. Секретов своих не таит. И не пышет завистью, не держит камня за пазухой, а радуется, если товарищ работает лучше него.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Это можно рассматривать как индивидуальное качество человека, как его характер...

БАСОВ. Э, нет. Тут я с вами не согласен. Характер надо ломать, если он во вред общему делу, если другим людям здоровье подрывает. От характера все остальное идет. Храмов у нас не только передовой по работе. Он и как депутат облсовета много делает и как член цехового бюро и горкома партии. Я бы сказал, у него полностью коммунистический характер.

Чтоб не задерживаться в дальнейшем на характере Храмова, приведу высказывание его старшего сына Евгения:

Ветеранам — почет, погибшим — вечная слава!





— У каждого мальчишки был свой идеал. У кого — Чапаев, у кого — Гайдар, у кого — Маресьев. У меня был и есть отец в любом отношении, хотя я в цехе с ним не работал. У нас разные специальности: я сборщик, электрик. Во-первых, я не помню случая, чтобы отец сидел когда-либо без дела, всегда у него какое-нибудь занятие. Второе. В спорных случаях никогда не кричит и не шумит. Его метод — внушить, не заставить, а внушить! Третье и самое главное. Характер у него общительный, дружелюбный, с любым человеком, даже совершенно незнакомым, на улице, сразу находит общий язык. Причем настроен всегда доброжелательно. Словом, как теперь говорят, он коммуникабелен.

...Вот сын и подвел черту. Коммуникабельность. Активная способность вступать в контакты, общаться с другими людьми. Та самая грань деятельности человека, на которую философы за последнее время обратили самое пристальное внимание. Храмов наделен ею в полной мере.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Из чего складывается семейный бюджет? С этого вопроса и началось у меня знакомство с Евдокией Васильевной. Она, как и положено женам, главный в доме экономист. Близко это ей и по профессии — товаровед магазина. Вооружаемся мы с Евдокией Васильевной бумагой и карандашом, прикидываем, сколько в среднем в месяц у них набегает. Начинаем с бабушки, Анастасии Семеновны. У нее пенсия небольшая — тридцать рублей. Оклад Евдокии Васильевны — семьдесят рублей, но получается, с начислениями за перевыполнение плана торговли, около ста рублей. Виктор — сто десять рублей. Михаил Федорович — в среднем триста двадцать. Подбили мы итог. Получается: пятьсот шестьдесят рублей. Если их разделить на четверых — сто сорок на человека. Немало.

Евдокия Васильевна соглашается:

— Не жалуемся. На все хватает. Два года назад купили «Запорожец». Теперь кооперативный гараж строим. Женя лодку «Прогресс» в рассрочку приобрел, мы мотор к ней купили.

— Ну, а как у вас с другими доходами, невидимыми?

— Какими? — не понимает Евдокия Васильевна.

— Вот, например, путевки или кто-нибудь у вас заболел. Бывает же?

— Бывает. Я сама часто болею. Особенно мне зимой достается. Спазмы сосудов. По бюллетеню сто процентов получаю. Бабушка два месяца недавно лежала в больнице, давление подскочило.

— За лечение и питание в больнице вы ведь ничего не платите?

— Конечно, не платим. Это же за счет государства. А, поняла, что вас интересует. Общественные фонды. Обучение детей, детсады, библиотеки, Дворец культуры и так далее. Витя и Женя у нас в детский сад ходили. Платили мы за ребенка около двенадцати рублей в месяц. Это же не покрывает всех расходов по его содержанию, остальное — за счет этих самых общественных фондов. Конечно, они большое подспорье в каждой семье, все ими пользуются. Только мы как-то привыкли ко всему этому, не замечаем. За квартиру платим всего рублей пятнадцать-шестнадцать, с телефоном, светом и газом. У Миши, как у героя, правда, льготы, но и раньше не так уж много получалось. Ведь квартира немалая, сорок два квадратных метра только комнаты. Живем так вольготно всего два года, после того как Женя со своей семьей от нас уехал. У них однокомнатная кооперативная квартира в центре Саратова, на Братиславской улице. Помогли ему внести пай. Вот еще одна статья нашего семейного расхода. А так нас было шестеро, да еще внучонок, Ромка, Ромашка, у нас появился.

Побывав в других заводских семьях и увидев, как в Саратове, этом старом городе, на окраинах которого сохранились еще бараки, сложно и длительно решаются жилищные проблемы, я продолжаю уточнять:

— Вот эта отдельная квартира в три комнаты давно у вас?

— С шестьдесят второго года. С нами мой брат жил с семьей, а третью комнату занимала еще одна женщина с детьми, Галина Ивановна.

— И ей предоставили отдельную квартиру?

— Тут получилось так. Миша своей заводской площади не имел. Предложили ему самострой.

— Что такое «самострой»?

— У нас строят жилье так называемым хозяйственным способом, за счет фонда предприятия, по методу горьковчан. Тот, кто будет жить в новом доме, должен каждый день отрабатывать на этой стройке несколько часов. Вот Миша и ходил помогать каменщикам. Кирпич на себе таскал. Восемь часов у станка и еще там, на стройке. Он уже звезду тогда имел, соседи еще удивлялись: «Герой, а на «самострой» ходит». Когда дом построили, то свою квартиру Миша поменял на комнату Галины Ивановны. Брат тоже переехал, и мы остались одни. Нас никто ни в чем упрекнуть не может. Мы как все.

ДАВНЫМ-ДАВНО...

— Расскажите, пожалуйста, Евдокия Васильевна, о себе.

— Про что? Может быть, про то, как выходила замуж?

— Хотя бы про это.

— Тогда придется с самого начала. Училась я в геологоразведочном техникуме, когда началась война. Отца призвали на фронт, потом он погиб. Старший брат учился в летном училище. Младший братишка в школу ходил. На двести граммов хлеба не проживешь. Мама пошла в дворники, зажигалки гасила. А я — на наш завод, тогда комбайновым он назывался.

Рассказывает Евдокия Васильевна, а я вспоминаю свое. Вот так же было и у меня, у миллионов людей моего поколения. Оставляли мы техникумы, школы, институты и шли работать для фронта, во имя победы. Судьба, вернее, война, забросила меня в Саратов. Куда идти? Конечно же, на завод комбайнов. Авиация! Это звучало так гордо! И не искушенные в производстве девчонки из местных и эвакуированных табунами валили в отдел кадров, изучали списки, расклеенные по стенам. Со мной приключился тогда конфуз. Прочла я в списке слово «экспедитор» и подумала: «Что-то связанное, наверное, с экспедициями, вероятно, очень интересная должность». На учетном листке мне ее и записали. Пошла я с этим листком в комитет комсомола, чтоб стать на учет, а там меня на смех подняли: «Ты что, спятила? А знаешь, что делает экспедитор? Развозит на тележке грузы и заготовки...»

— Поставили меня контролером в ОТК,— продолжает Евдокия Васильевна.— Цех шумный, все грохочет вокруг, а я сижу, проверяю. Детальки мелкие, с пуговку, с копейку, одна на другую похожи. Горки деталей.

— Шайбочки, втулки, заклепки, гайки, болты,— подсказываю я.

— Точно. Так они назывались. С непривычки мельтешит все перед глазами. А упустить ничего нельзя, чтоб все было по размерам. А откуда вы знаете, что они так назывались? — спохватывается вдруг она.

— Скажите, Евдокия Васильевна, в каком цехе вы работали?

— В одиннадцатом. А что?

— И я в одиннадцатом, в цехе нормалей.

— Вы? Да как же это? — всплескивает она руками.— Значит, мы из одного с вами цеха? Вы кем работали? С какого времени?

— С августа сорок первого. Технологом третьего участка. В техбюро еще Сережа Сироткин был, такой худенький, черноволосый молодой человек. Он сейчас заместитель главного технолога завода. Помните его? А мастером — Сергей Иванович Горьков, теперь председатель завкома.

— А вы Ионова, начальника ОТК, помните? Ох и сердитый был дядя! Требовательный очень и вспыльчивый. Я от него ревела без конца. Да вы подвигайтесь к столу, сейчас чай пить будем, — засуетилась Евдокия Васильевна,— с малиновым вареньем собственного урожая.

И потекла у нас беседа, как между старинными, давно не видевшимися приятельницами. Она вспомнила про щели, в которых мы сидели во время воздушных тревог — фронт продвигался все ближе и ближе к Волге, Сталинградский фронт; про колодки, которыми гремели девчонки по деревянным доскам темного, с низкими потолками корпуса, спешно переоборудованного под цех и совершенно не приспособленного для станков; про дюралевые самодельные ложки, которые постоянно носили при себе. А я ей по старой привычке, с тех еще пор, вспомнила про «козочек», как мы называли небольшие револьверные станки, на которых работали школьницы.

— Да, кстати, те самые «козочки» живы, трудятся как ни в чем не бывало,— говорю я.— Только стоят на разноцветных керамических плитках нового, светлого, высокого корпуса, в который переехал одиннадцатый цех. Я в нем была. Встретила там Елену Лоскутову, револьверщицу, она с тех самых пор работает на «козочках». Увидел меня Фёклин — помните его, он был начальником револьверного отделения, теперь начальник цеха? Представляете, подошел, назвал меня по имени, узнал. Узнал через столько-то лет!

— Нет, Фёклина я не помню. Я ведь недолго работала в одиннадцатом. Попросила, чтобы перевели меня от Ионова в другое место, и попала в первый цех, где Миша был. А вы долго были в одиннадцатом?

— Пока заводской комитет комсомола не выдвинул меня в многотиражку. А все Сережа Сироткин виноват: как секретарь комсомольской организации цеха, поручал писать мне заметки, вот и «дописалась»... Да, так как же вы выходили замуж?

— Перевели меня, значит, в первый цех, где Миша работал. Девчата мне как-то показали его, посмотри, говорят, какой симпатичный парень. Девчатам он нравился, компанейский был, веселый, за словом в карман не лез. Жил Миша в деревне, в двенадцати километрах от завода, за горой. Приносил с собой на завтрак бутылку молока и мешок яблок, угощал нас. Было время голодное, жмых ели. В сорок втором трамваи не ходили. Миша двенадцать километров зимой топал на завод и двенадцать с завода, каждый день, но носа не вешал. Работал и тогда уже хорошо, на виду был. Нарком еще до войны наградил его значком «Отличник соцсоревнования». Ну, конечно, девчонки бегали за ним. А он взял и пригласил меня на вечер в клуб на Октябрьскую. С тех пор мы стали дружить, своя компания образовалась. Под конец войны дали мне отпуск, я уехала. Приезжаю, а мне говорят, что Мишу с какой-то девчонкой видели в клубе. Ах, думаю, так? Ну хорошо же! Моряки как раз вовремя приехали погостить. Знакомство завязалось. Миша подлетает ко мне и спрашивает, что, да как. А я ему спокойненько: «Очень все хорошо. Приходи ко мне на свадьбу под Новый год». Он сразу в лице изменился, очень медленно и отчетливо, по слогам, отчеканил: «Свадьба будет не под Новый год, а на Октябрьскую». Так и сыграли мы свадьбу на Октябрьскую в сорок пятом. Две свадьбы было. Одна тут, в этом доме, а вторая — в деревне, у Мишиных родных.

Я взглянула на часы. Засобиралась.

— Да куда же вы? Так поздно уже, заночуйте у нас,— уговаривала меня Евдокия Васильевна.

С этого вечера я почувствовала себя у Храмовых своим человеком.

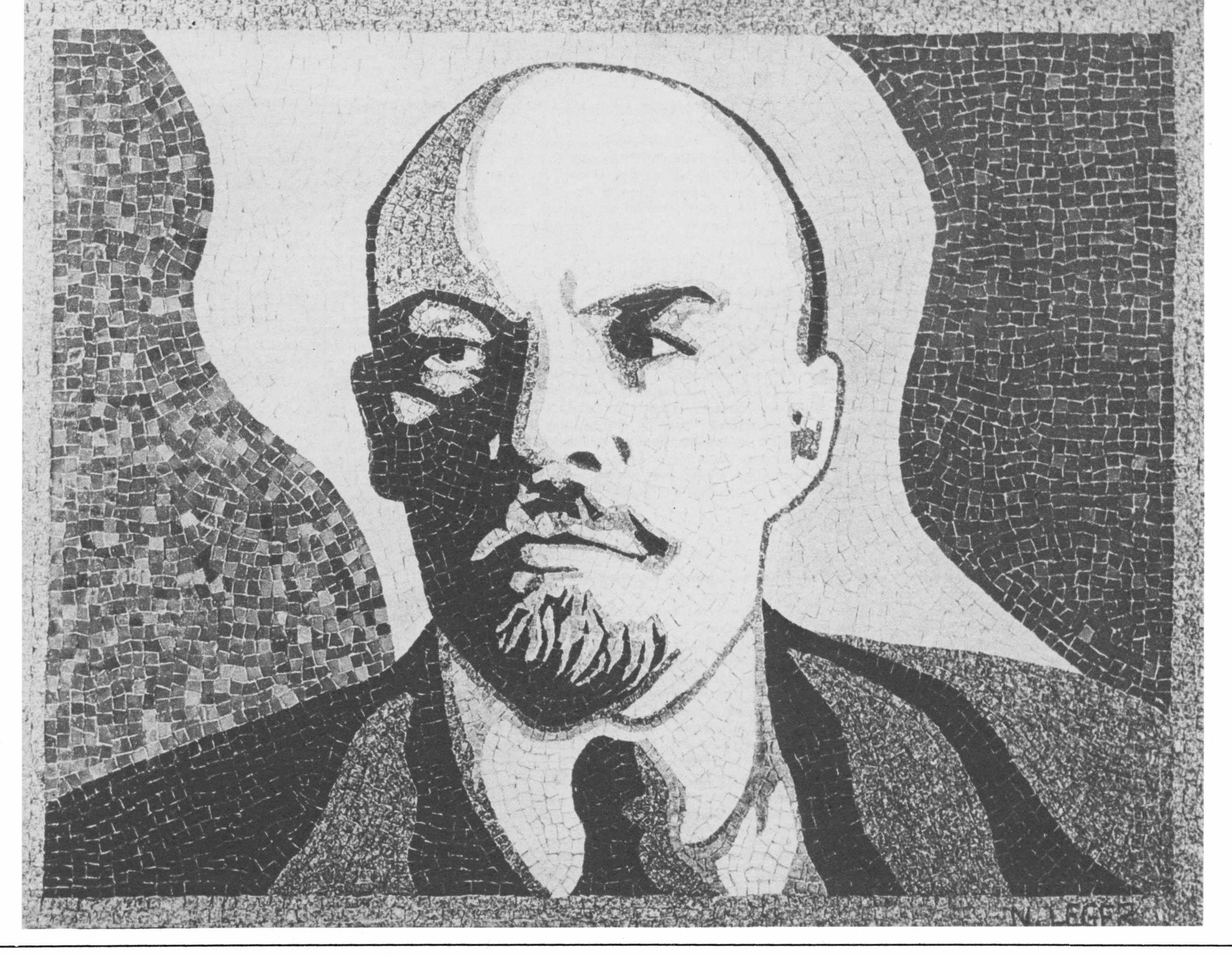
СЫНОВЬЯ

Евгению — двадцать шесть. Виктору — семнадцать. Внешне они мало похожи. Евгений высокий, широкоплечий, упитанный. Виктор худющий, тонкий. Сзади своими длинными волосами напоминает девчонку-подростка. Не похожи они и характерами. Евгений спокойный, терпеливый, вежливо сдержанный. Виктор — резкий и в поступках и в словах, порывистый, «сразу выплескивает все свои эмоции», как говорит Оля, жена Евгения. Евгений, по его собственному выражению, «страстный природолюб, вероятно, в отца». Коллекций марок, этикеток или значков в детстве не собирал, подобно многим мальчишкам. Собирал до самого последнего времени... аквариумы. Комната, в которой жили они с Витей, была заставлена от пола до потолка аквариумами. Евдокия Васильевна заходила к сыновьям с опаской, боялась, что какой-нибудь сосуд сверху свалится и раздавит. Но сосуды не падали, и в них порхали стаи — не каких-нибудь гуппи, а редкостных барбусов. Почему именно барбусы-конхониусы и барбусы-суматронасы, которых и раздобыть-то было очень трудно? Ответ на вопрос в самом характере Жени: эти рыбки особенно прихотливы; чтоб разводить их, требуется немалая выдержка. Женю они тем и привлекали, выдержки ему было не занимать. В конце концов барбусов выжил Ромка. За месяц до его появления на свет Оля все же доказала мужу, что пора вместо аквариумов ставить детскую кроватку, и барбусы перекочевали к друзьям и знакомым.

Виктор никогда ничего не коллекционировал. Зато любил спорт, любил рисовать и играть на гитаре, даже посещал музыкальную школу. Ходил в детскую секцию при Дворце спорта и получил по плаванию второй взрослый разряд. Вообще, по рисованию, физкультуре и урокам труда в школе у него были сплошные пятерки. Зато по всем остальным предметам... сплошные тройки. Позапрошлой весной он категорически заявил: «В школу больше не пойду». Евдокия Васильевна и Анастасия Семеновна, бабушка, страшно расстроились: точь-в-точь повторялась история со старшим сыном, который не за-

Окончание см. на стр. 24.

Михаил Федорович Храмов и его внук Ромка.



ПУТЬ К ЛЕН

Надежда Петровна Леже — художник, видный общественный деятель, большой друг нашей страны. Год назад она передала советским музеям картины и керамику знаменитого французского художника Фернана Леже, более двух тысяч превосходно выполненных репродукций шедевров мирового искусства и шестьдесят монументальных мозаичных произведений, созданных ею самой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за большой вклад в развитие советско-французского сотрудничества и в связи с пятидесятилетием творческой деятельности в области изобразительного искусства Н. П. Ходасевич-Леже награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Сегодня «Огонек» публикует отрывки из готовящейся к печати книги Л. ДУБЕНСКОЙ «Надя Леже рассказывает...».

В 32-м году в Париже в нашей партийной ячейке много говорили о тяжелых условиях, в которых находилась немецкая компартия. Там, в Германии, уже смраден был воздух от фашистских безумств, смертельна отвага коммунистов. Под впечатлением этого я написала портрет Эрнста Тельмана.

Потом были портреты Марселя Кашена, Мориса Тореза, и мне казалось, что все они приближают меня к давнишнему намерению — к работе над образом Ленина.

Мне необходимо было глубже распознать мудрость и смелость вождя, необыкновенное в облике обыкновенном, величие в скромности, и я искала эти черты в работе над портретами выдающихся коммунистов.

Так незримо намечались для меня тропинки к Ленину. Они возникали все чаще, как волнующий контраст к сумрачному бездорожью — к моему одиночеству, к творческим тупикам, к гнетущим законам капитализма. Иногда эти тропинки прокладывались памятью.

...Первые годы революции. Городок Белев. Трудно жилось ему тогда. Трудно, как всей стране. Голод бродил по домам, застревал по углам, томил днем и ночью. Помню день, прозрачный и жесткий. Раскалывает воздух воронье карканье. По-осеннему бедны, голы, будто голодны, деревья. А я несусь по улице, бегу мимо прохожих, мимо мальчишки в красноармейском шлеме, бегу, потому что несу торжество, ах, что я несу!..

Громом врываюсь в дом.

— Мама, хлеб!

Мама стирала, обернулась.

— Хлеб, мама!

— Где ты взяла? — спросила она дрогнувшим голосом.

— В школе.

— Кто тебе дал?

— Ленин.

— А Жене, Володе, Пете, Саше, им тоже досталось?

— Дали всем в школе. Всем, понимаете?

И мама вдруг заплакала, уронив в корыто мокрые, добрые, тяжелые руки.

Впервые тогда я произнесла имя «Ленин», и оно стояло рядом с хлебом, рядом с жизнью.

...Париж. Начало тридцатых годов. Работаю прислугой в «Семейном пансионе». Пока мою пятьсот тарелок, мысленно рисую: всю эту поверхность покрыть коричневым, ведь это кувшин, а сверху тронуть черным. Мрачно? Мрачно. И я уничтожаю эту ненаписанную картину, смываю ее в своем воображении, как остатки соуса с грязной тарелки.

В комнатушке моей темнеет рано, краски здесь дремлют в полусне, теряя цвет: перед окном слепая, унылая кирпичная стена.

Вечер. По лестнице простучали

каблуки. Захлопали двери, унеслись студенты. А на меня наступает стена. Я тоже хлопнула дверью — и передо мной простерся легкий вечер, вздрагивающий огнями и уличным шумом.

За освещенными окнами кафе смеются, грустят, спорят, жуют, танцуют, играют в карты. А ты, прохожий, идешь мимо и нет конца твоему одинокому пути. Прохожий — это я. Иду... иду... иду...

На площади Мобер люди толпой входят в зал Мютюалитэ. А там митинг. Выступает Морис Торез. Тогда я увидела его впервые. Он говорил уверенно и просто, держался на сцене по-хозяйски. Жест его тверд, слова энергичны. А что в словах? О чем говорил он? К чему призывал? Не знаю. Я еще плохо понимала по-французски. Но иногда он произносил слово «Ленин», делая ударение на последнем слоге, и на секунду возникала общность. Таких секунд было несколько, это было необычайно и незабываемо. Они возникали в памяти и потом, когда я решила стать коммунисткой и когда, оформляя манифестации, показывала Торезу свой плакат с изображением Ленина.

Во время фашистского мятежа в Испании секретарь нашей партийной ячейки Фредо Бружер, человек молодой и горячий, уходил к республиканцам. На прощание я нарисовала для него совсем маленький портрет Ленина. Фредо наклеил его на картонку, чтобы не помялся, и взял с собой. Через две недели Фредо погиб. Я написала его портрет для траурного митинга. Были черные банты на портрете, а мне виделось, как он, улыбаясь, держал в руках маленький рисунок с изображением Ленина.

Живя во Франции, я доставала сочинения Ленина на русском языке и выбирала то, что мне было понятно, что восхищало меня ясностью мысли, простотой изложения, что даже здесь, в другой стране, в совершенно иных, нерусских, нереволюционных условиях, просветляло мое существование. В ленинских статьях и выступлениях я находила для себя поддержку и разрешение своих сомнений.

Ленин обращался к массам, а я, живя в отдалении, принимала это, как свое. Делала выписки из его произведений и хранила эту тетрадку.

...43-й год. Париж в оккупации — темен, печален, опасен. Мне приказано скрыться — был провал — и быстро, осторожно пробраться в деревню. Это уже не впервые, и мы с дочкой Вандой, помощницей в партизанских делах, собираемся спешно и молчаливо.

Тетрадку с выписками из Ленина взять с собой нельзя. Но где же то недосягаемое, то надежное место, которому доверишь? Озираю комнату. Не раз я прятала листовки на лестнице под потертой, разбухшей от пыли ковровой дорожкой, вблизи от двери жильцов, профашистов. Но эту тетрадь туда не положу.

— Ванда,— говорю,— тут где-то была твоя детская кукла.

Туловище куклы я обернула мягкой тетрадкой, потом укутала одеяльцем и положила на диван. На видное место. S'il vous plaît! Но прежде наудачу открыла тетрадь и, как напутствие на счастье, прочла: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами...»

Потом мы шли по полям вдвоем с Вандой. Обманчив был покой дороги: позади и впереди, справа и слева, со всех сторон немецкие захватчики. Но я знала, я помнила: по всей Франции, по всей России, по всему миру «идут тесной кучкой». Идут на борьбу. Идут, чтобы победить.

Вот так и прокладывались тропинки к давно задуманному портрету Ленина. Принялась я за него только в шестидесятом году. И началась моя страда. Все казалось: немощен рисунок, не выражена воля, высокая ленинская мысль не светится в глазах...

Я сделала двадцать шесть портретов Ленина, выполненных в мозаике. Им место — мечтала — на улицах, на площадях, в больших помещениях.

Теперь один из них находится в колхозе «Заря коммунизма» в Белоруссии, где жили мои родители, а другой — в Париже, на Елисейских полях. Между ними тысячи километров и разные миры.

В Париже сквозь огромное окно советского агентства Аэрофлота виден мозаичный ленинский портрет. И если для белорусского колхоза естественно изображение Ленина, то пребывание его в самом центре Франции для одних — удар молнии, для других — надежный, верный свет. Здесь шумно, оживленно, людно. И всякий — парижанин и приезжий, откуда бы он ни был,— непременно пройдет или проедет по знаменитым Елисейским полям. А там теперь днем и ночью мерцает смальта на портрете Ленина, и редко кого оставляет равнодушным пронзающий судьбы мира взгляд вождя.

Однажды в Москве, в аэропорту Шереметьево, где приземляются самолеты, прибывающие из-за рубежа, я заметила, что над словом «Москва» пространство будто предназначено для ленинского портрета.

Ну что ж, решено: буду делать его в двадцать седьмой раз.

И, наверное, не в последний.

ИНУ

СМОЛЬНЫЙ

Бабкен КАРАПЕТЯН

Здесь каждый камень дорог мне и мил:
Здесь встал к штурвалу Ленин в грозный час;
Здесь он работал, не жалея сил,
По этим коридорам он не раз
Походкой торопливой
Проходил.

Вот небольшой рабочий кабинет
И спаленка. Тревожен и суров
Нехитрый быт тех беспокойных лет:
Ни золота, ни радужных ковров.
Ни хрусталя
Здесь не было и нет.

Все буднично, куда ни кинешь взгляд.
Все под рукою — комната мала.
Карандаши граненые лежат.
Графин с водою, кресло у стола,
Знакомый
Телефонный аппарат.
Бывала эта комната полна
Людей в шинелях — к двери не пройдешь,
И лампочка горела допоздна;
Казалось, тесный кабинет похож
На штаб,
Не знавший отдыха и сна.

Здесь сердце Революции самой
Стучало,— и его бессонный зов
Был ясно слышен в стороне любой —
Путиловцам, стоящим у станков.
И морякам,
Идущим в смертный бой.

Ильич и Смольный,
Смольный и Ильич...
Искрясь, трещали до утра костры,
Был голос ветра — как победный клич.
Величье незабвенной той поры
И ныне трудно
До конца постичь.

Из края в край, сметая царство зла,
Не чудо и не щедрый дар небес —
Свобода шла, прекрасна и светла,
И правда удивительней чудес
И сказочнее вымысла
Была.

Здесь, с памятью своей наедине,
Я долго и торжественно стою,
И Ленину в звенящей тишине
Я снова поверяю жизнь свою,
И даль грядущего
Открыта мне.

Перевел с армянского Я. СЕРПИН.

НАШ ДОМ

Сергей **СМОРОДКИН**

Ночь догоняла нас. Кони наши устали, стали спотыкаться, пугаясь резких синих теней, что легли поперек горной тропы. С раннего утра в седлах: ищем геологическую партию. Уже перед вечером разыскали мы стоянку геологов. Увы! Вместо палаток — пустые прямоугольники вытоптанной травы, черный круг погасшего костра да забытый моток веревки.

— Два дня как ушли,— определил мой проводник, молодой чабан Смаил, поковыряв палкой в золе.— Что будем делать, товарищ? Едем в аил Бозучук, а? Там ночевать будем...

И он показал рукояткой камчи вниз и вправо, но я ничего не увидел, кроме смутно мерцавшей звезды-пылинки.

За неширокой речкой пахнуло дымом. Кони почуяли жилье, пошли резвее. Но тьма уже залила все вокруг, и когда мы въехали в аил, лишь в редких домам светились окна.

— К белорусу попросимся,— сказал Смаил и, не спешиваясь, осторожно постучал в окно.

— Хозяин из Белоруссии? — спросил я.

— Нет. Киргиз. Здесь родился.

И вот мы сидим на кошме с белым узором в чистой, выбеленной комнате. Вдоль стен на сундуках — гора огненных, зеленых, голубых одеял. Как-то празднично от них в комнате. На стене — фотография хозяина в солдатской форме да плакат: «Берегите лес!».

Входит хозяин с чайниками, пиалами, подносом со сластями и лепешками, завернутыми в платок. Хозяину за пятьдесят. Невысок, коренаст. Руки тяжелые, в узлах и шрамах. Хозяина звать Апыла. Фамилия — Джаманбаев.

В соседней комнате заплакал ребенок.

— Сколько детей? — спрашиваю я.

— Девять,— прищуривает один глаз Апыла.— Это Рая плачет. Второй год ей...

Смаил кивает:

— Что за дом, если дети не плачут, а?

— Да,— соглашается Апыла.— Дом без детей — пустой дом...

«Дом,— думаю я, согреваясь.— Словно и не было долгого пути, пронизывающего ветра, каменных осыпей, текущих из-под копыт...»

Разговор чабанов медлителен, с паузами. «Почему Смаил назвал хозяина белорусом?— думаю я, и во мне просыпается профессиональный интерес: — Надо спросить».

— Э-э-э, целая история,— не сразу отвечает Апыла.— В войну еще началась...

Он встает, уходит в соседнюю комнату, возвращается с деревянной шкатулкой. Апыла достает из шкатулки журнальный лист.

— Тут все на бумаге написано. Про себя как рассказывать?

Я читаю воспоминания полковника Баканова.

«Это произошло в 1944 году под Витебском,— пишет он.— Минометная батарея старшего лейтенанта Тихмянова Л. П. занимала оборону на безымянной высоте неподалеку от деревни Шарово.

...Беспощадно разили врага наводчики Никитин, Раскопин и Зотов. Быстро и четко выполняя команды сержантов Медведева, Джаманбаева, Койлюбаева, они вели прицельный огонь по врагу. Вскоре, однако, мины, посылаемые на столь короткое расстояние, стали рваться позади фашистских цепей... Окружив высоту, фашисты нанесли удар в спину, где были только раненые под присмотром младшего лейтенанта семнадцатилетнего Сергея Богомолова. Он организовал оборону, и раненые отбили три атаки. Одну — психическую. А всего 38 минометчиков Тихмянова отбили больше десяти атак. После боя вокруг высоты насчитали 259 вражеских трупов, два сожженных танка.

Командир комсомолец Тихмянов был самым старшим на батарее. Ему было 25 лет. За этот бой Тихмянову Леониду Павловичу и Богомолову Сергею Александровичу были присвоены звания Героев Советского Союза, а батарейцы награждены орденами...»

Потом Апыла показывает фотографию.

— Нас сфотографировали, когда награды вручали,— говорит он.— Только не всех. Кто в госпитале еще был. Кто совсем остался на высоте. Особенно жалко друга моего Сашу Путинцева. Повара. Он под пулями термосы с горячей кашей нам притащил на высоту. Верил, что живы. Был Саша откуда-то из Сибири...

А вот в третьем ряду — Койлюбаев Абдыкерим. Повезло нам: из одного аила уходили на фронт. В одной батарее войну прошли. И сейчас — соседи. Он в колхозе Фрунзе почтальоном работает. Редко встречаемся. То одно, то другое. Хоть письмо Абдыкериму пиши...

Апыла долго смотрит на фотографию. Карие глаза его сосредоточенны. В них перемещаются светлые тени, глаза становятся глубокими, и я осмелюсь в этот момент назвать их вдохновенными.

Мы сидим молча. Какое-то смутное чувство переживаю я, не воевавший на фронте, не знающий, что такое окопы. Я смотрю на Апылу Джаманбаева, одного из армии фронтовиков, смотрю на журнальную страницу, которую он держит в темных руках.

Юность. Боевые друзья. Смерть. Победа. Возвращение домой...

— Неплохо вышли, а? — спрашивает Апыла и неожиданно смеется.— Смотри, и орден Красной Звезды видно. Молодой был. Орден в коробочке носил. Боялся. Вдруг потускнеет. Хотелось в дом отца вернуться — и чтоб орден горел, как новый.

— А потом так было,— говорит Джаманбаев.— Вернулся домой в аил. Дети. Заботы. Где однополчане? Разбросала судьба. И вот прошло двадцать пять лет после Победы. Случилось в нашем районе землетрясение. В этот день я был на джайляу с отарой. Семья в аиле. Оставил я отару помощнику. В седло — и вниз. День, как ночь. Коня чуть не загнал.

И что-то в интонации меня настораживает. Какая-то печаль.

— Знаешь,— говорит Апыла,— я ведь первую зиму в этом доме зимую. Пришлось спуститься с гор. Сдать отару. Ревматизм замучил... Вместо гор — на складе теперь сижу. Зерно выдаю, комбикорм...

— Быстро же прошло время. Вроде недавно был я на свадьбе у своего соседа, а теперь он женит своего сына... Знаешь, а я в Белоруссию ездил. В те места, где воевал. И Тихмянов из Тулы приезжал. И Богомолов из Москвы. Увидишь их — мало ли какой случай — много саламов от меня... Ту высотку, где мы в сорок четвертом в окружении сражались, Тихмяновской назвали. Райисполком постановил. Вошла в историю, получается. И обелиск поставили. Только не был я на открытии. Брат старший у меня тогда умер... От ран, что на фронте...

Из соседней комнаты выходит младший сын, Талдыбай...

— Ата,— говорит он,— проверь сочинение.

«Мне десять лет,— читаем мы с Апылой.— Живу в горах Тянь-Шаня. Недавно отец брал меня в Белоруссию. Он там воевал, и его там ранило. Рана у него болит до сих пор.

Ехали мы в Белоруссию долго. Через реки, через горы, через леса.

— Вот горы. Они чьи? — спросил я у отца.

— Наши горы.

— А реки?

— И реки тоже.

— А страна?

— Тоже наша. Твоя. Моя. Всех.

Я не стал больше спрашивать. Я смотрел на горы, на реки, на леса. Все это — наш дом».

ИЗ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Ия **МЕСХИ**

То был и есть типичный старый тбилисский дворик, образованный двумя домами в виде буквы Л.

В темноватом углу шипел общий кран, возле которого женщины бряцали ведрами и тазами. По весне у ворот пышно расцветала акация, толкаясь белыми гроздьями в окна. Старая лоза глицинии выбрасывала фиолетовые соцветия.

Пестрота в этом дворе была всяческая. Жили тут музыканты, торговцы, педагоги, рабочие, врачи, художники... Ссоры? Бывали и ссоры. Как вспышка спички, не больше. Двор славился своей сплоченностью, своей мобилизационной готовностью быть тут как тут в любой момент. Радость вместе и горе вместе... Говорю так, потому что испытала сама, выросла здесь. И вот теперь, спустя много лет, пришла сюда.

Сидим с Тамарой, вспоминаем детство. Из глубин памяти выплывают лица, лица... И вот это лицо дворового футболиста, мальчика, Тамариного брата Тенгиза Узнадзе. Лицо удивительно тонкое, мягкое, готовое к улыбке...

Проводил его двор в армию сразу после окончания школы. Служил солдатом в Литве. Первое фронтовое письмо прислал в сентябре 1941 года из Феодосии! Жив! В те годы почтальон приносил сюда треугольники не только от Тенгиза. Ушел на фронт сын Марго — Отари, брат Нинико — Владимир, муж Любы — Георгий... Мужчины и мальчики, они защищали своих родных, сражаясь с врагом где-то далеко от Тбилиси.

Но вот однажды — это было уже зимой 1944 года — ворота заскрипели, и во двор вошел Тенгиз в длинной, потрепанной шинели, с перебинтованной головой. Он не вошел, его ввел, подпирая плечом, отец Тенгиза, Шакро Ефимович. За другое плечо Шакро Ефимовича держался незнакомый парень, тоже весь перебинтованный, на костылях. Все трое еле волочили ноги.

Двор знал: Шакро Узнадзе ездил за своим сыном куда-то на Южный фронт. Тенгиз воевал хорошо, на груди его ордена, он стал коммунистом, дослужился до звания капитана, был заместителем комбата по политической части. Четыре раза лежал в госпиталях с ранениями, но подлечивался и снова в бой. А последний раз его ранило в голову на берегу реки Миус, и семья получила письмо из госпиталя от шефов, так, мол, и так, ваш сын в шестидесяти километрах от Сталинграда, в госпитале, перенес трепанацию черепа, если приедете, сможете его взять домой. Шакро Ефимович приехал. В госпитале Тенгиз сказал:

— Вот видишь, папа, на сосед-

ней койке Костю? Он украинец, из Одессы. Тоже трепанация. Мы побратались по нашему обычаю. Если возьмешь с собой Костю, тогда поеду и я...

Тенгизу 21 год, Косте — 19. Двигались они так: в руках у Шакро Узнадзе два пустых фанерных чемодана — когда-то они были наполнены продуктами. Он обнимал одного сына за талию, чемодан держал в руках, делал шагов 20—30, сажал на чемодан, притулив к стенке. Потом шел за другим... Так — до какого-нибудь транспорта. А транспортов было много и разных, пока добирались до Тбилиси.

В это время Тамара работала далеко за городом, на головном сооружении водопровода. Там, в лесу, вырастила ягненка, откормила его желудями, собрала банку дикого меда. Узнав о возвращении Тенгиза, забрала все это и помчалась.

Тамара вспоминает:

— Мама встретила меня во дворе и говорит: «Тенгиза мы уложили в маленькой комнатке, Костю — в спальне. Оба очень плохие, беспокойные, вместе им нельзя. Только не вздумай плакать...» Я отплакалась у соседей, пошла к Тенгизу, потом к Косте. Говорю ему: «Я Тамара, сестра». «А я брат...»— ответил Костя и улыбнулся через силу.

Словом, Костю выхаживали в этой семье, в этом дворе, потом в тбилисском госпитале, потом их с Тенгизом отправили в деревню Самтависи, где жили родственники Узнадзе и где Шакро Ефимович когда-то был первым председателем сельского Совета. Осенью обнаружилась Костина мама в деревне под Одессой. Радостный, он быстро собрался и уехал. А Тенгиз вдруг стало очень плохо. Начался абсцесс головного мозга. Ничего не успели сделать, в три дня Тенгиз сгорел...

Прошло десять лет. Ворота заскрипели, раздвигая обе свои половинки, во двор въехала машина, а в машине — Костя. Что тут было! Крики, объятия, слезы... Да неужели же это тот самый Костя, искалеченный, пропахший порохом, тощий, девятнадцатилетний командир артиллерийской батареи?! Да, да, прикатил вместе со своим шефом, профессором, на его профессорской машине. Сам уже хирург (мечта Тенгиза!). Женат. Жена тоже медик. Двое сынишек. Впрочем, все это было в письмах. Но письма — одно, и совсем другое — сияние глаз, улыбка, голос. Нельзя так долго не видеться, нельзя!



Тенгиз Узнадзе перед войной.

А что же Тамара? Так же круглолица, большеглаза, экспансивна. Тяжело ей, бедняге, пришлось: мать умерла вскоре после Тенгиза, отец уехал в другой город, обзавелся новой семьей. Но теперь ничего, все налаживается, работает она в лаборатории научно-исследовательского института, появился славный спутник жизни по имени Татархан, художник и школьный учитель. Это тоже было в письмах. Но как Тамара умеет встречать, хлопотать, одаривать едой, и Костя со своим шефом испытали теперь уже на собственном, что называется, опыте.

Все эти дни Костя спал там же, где когда-то. О чем думал он в эти ночи, побывав на могиле Тенгиза, окунувшись в атмосферу приютившего его в военную годину двора?

БРАТ

После отъезда Кости (кстати, по дороге он забрал в другом городе очень больного Шакро Ефимовича в свою одесскую больницу, продлив ему тем самым жизнь лет на десять) двор обсуждал событие: как будет дальше? Надолго ли теперь исчезнет Костя?

Костя не исчез. Костя приглашал Тамару с Татарханом, а потом и с сынишкой Алеко к себе, в Одессу. Он появлялся у Тамары каждый год, выкраивая часть отпуска. Он присылал Тамаре такие вещи, которые подарками не назовешь, просто необходимые в обиходе вещи, отсутствие которых может подметить только глаз близкого человека. Сам очень общительный, окруженный массой друзей, Костя перезнакомил и передружил с ними и Тамару. Все они запросто теперь приезжают к ней, в этот самый маленький тбилисский дворик. Не потому приезжают, что негде им остановиться, а потому, что хочется именно сюда.

И был такой случай: возвращается Тамара из отпуска и ничего не может понять. Ее окно, выходящее во двор, открыто, к нему приложена доска, и супруга профессора К., грациозно балансируя по доске, спускается навстречу. А случилось, что все семейство профессора К. (сам, жена, дочь, внук) прикатило к Тамаре и не застало ее. Двор всполошился, семью разобрали по квартирам («Не беспокойтесь, Тамара скоро вернется!»). Однако почему-то хотелось в «свой» (Тамарин) дом. Тогда эту историю поведали в домоуправлении и в присутствии официальных лиц вскрыли Тамарино окно.

«Пишите, дорогие, обо всем, что у вас происходит,— читаю письмо от семьи профессора К. — Все вспоминаем, как лазили к вам в квартиру через окно, как нас соседи впустили...»

Давно уже Костя работал главным врачом Одесской областной клинической больницы. Кандидатскую диссертацию защитил, а на докторскую тбилисцы прибыли в Одессу в полном составе. («Если б Тенгиз защищался, разве мы бы усидели?!»)

В 1969 году осенью Костю вызвали в Самтависи. Маленькая справка о Самтависи. Старинное селение в Картлинской долине с красивым древним храмом, памятником архитектуры. В 1921 году самтависцы одни из первых в Грузии создали земледельческую коммуну. Организатором ее был брат Шакро Ефимовича, коммунист Георгий Узнадзе. А Шакро, как уже было сказано, представлял в Самтависи Советскую власть. Кулаки, обозлившись на коммунаров, лишили село воды. Тогда коммунары нашли подземные родники и провели воду к центру села. Источник назвали именем Ленина.

Во время Отечественной войны ушли из Самтависи и погибли в боях 90 мужчин. Давно это было, а матери и сестры погибших все мучились: негде как следует выплакаться — нет могил!.. И тут кто-то сказал, что хотя Тенгиз Узнадзе и в Тбилиси родился, а все же он наш, самтависский, и надо попросить Тамару, чтоб разрешила перенести его прах в село. Пусть могила считается братской, все будут ухаживать за ней.

Перенесли прах Тенгиза. Отар Парулава, парень с нашего двора, тоже фронтовик, а теперь скульптор, поставил над самтависской могилой памятник. На открытие памятника прилетел из Одессы Костя, захватив с собой украинских друзей. Дома, на Украине, его все давно зовут грузином, так пусть посмотрят, с каким народом он породнился. В тот день приехали из Тбилиси и школьные друзья Тенгиза, много людей собралось под гостеприимным кровом самтависцев, много говорилось возвышающих душу слов.

Несколько лет как Тамара уже стала ездить в Киев. Константина Сергеевича Тернового перевели на новую работу, он стал заместителем министра здравоохранения Украины.

— Гостила я как-то у него,— рассказывает Тамара.— собралась уезжать, Костя обещал проводить, но приехал домой немного раньше условленного времени. Говорит, что достал специальные очки для девочки из Самтависи и надо заехать к отцу этой девочки, отдать ему очки. Поехали, разыскали дом, где остановился мой земляк. Надо было видеть, с какой любовью отдавал Костя эти очки, просил беречь, не разбить. Я же все время думала, как оградить его от активной деятельности «полпреда» Самтависи на Киевщине. Ведь у Кости осколок еще сидит в голове! И дня не проходит, чтобы не мучили боли!..

А, в общем, не знаю,— продолжила она, помолчав,— наверно, это очень важная потребность: помогать людям, если только возможно. И если невозможно...

В самом деле, бывают добрые люди, добряки. Об этом рассказ Тамары? Бывает, что человека охватывает чувство горячей благодарности: меня поддержали в трудную минуту, и я должен за это отплатить. Тамара мне не об этом рассказывала. И не о том, что у ее погибшего от ран брата был фронтовой друг, который ее не забывает. И не о том, что человек, достигший высокого общественного положения, остается таким же простым, как был. Тамара Узнадзе рассказала мне о своем брате Константине Терновом, о том, что понятие «брат» совсем не обязательно кровное, а, скорее, нравственное понятие. Что одного брата она потеряла, а другой выжил, и все, что с ней, Тамарой, происходит, он должен знать и за все отвечать. И все, что Тамаре нужно, он поймет и сделает. Все, что ей близко и дорого, близко и дорого ему: ее семья, добрые соседи, ее город, деревня Самтависи...



К. С. Терновой. 1944 год.



К. С. Терновой. 1974 год.

Юрий ЖУКОВ

ГОЛОС МИНУВШЕГО

ЗАПИСКИ СОЛДАТА ПЕШКОВА

Еще целая стопа интереснейших записей — это архив ветерана Русского экспедиционного корпуса Евгения Ивановича Пешкова, ныне уже покойного. Его передала нам вдова ветерана Елена Николаевна Пешкова, актриса, отдавшая искусству тридцать пять лет своей жизни,— ныне она уже на пенсии, живет в Москве.

Евгению Ивановичу Пешкову довелось служить на Балканском фронте, в районе Салоник, куда была в 1916 году направлена 2-я Особая пехотная русская бригада в составе 3-го и 4-го полков. Туда же перебрасывались и другие соединения, в частности 2-я особая артиллерийская бригада, которой в пути было поручено позорное дело «усмирения» гарнизона лагеря Ла Куртин во Франции.

Салоники, древнейший город и порт греческой Македонии, в годы первой мировой войны стал важной базой операций английских и французских войск на Балканах. В октябре 1915 года там высадился их экспедиционный корпус, спешивший на помощь вооруженным силам Сербии, которые потерпели поражение.

Однако англичане и французы развертывали свои войска медленно, действовали нерешительно и не только не смогли развернуть победоносного наступления, но вынуждены были отойти на укрепленные рубежи на подступах к Салоникам.

В то время ожидалось, что вот-вот вступит в войну на стороне союзников Румыния. Предполагалось, что румыны вместе с русскими развернут наступление к югу от Дуная, а союзные войска из района Салоник ударят на север. Для проведения этой операции летом 1916 года в этом районе был образован «фронт восточных сил» в составе 5 английских, 4 французских, 6 сербских и 1 итальянской пехотных дивизий. В состав этого фронта вошла и 2-я Особая пехотная русская бригада, переброшенная сюда морем из далекого Архангельска. С нею и прибыл в Салоники Е. Пешков.

Широко задуманная операция «фронта восточных сил» началась с опозданием — в сентябре 1916 года, и успех ее был незначителен — союзные войска продвинулись немного на север, заняли район Монастиря, и фронт снова замер. Новая попытка развернуть наступление на север, предпринятая в апреле 1917 года, также большого успеха не принесла.

Солдаты Русского экспедиционного корпуса на этом фронте сражались так же мужественно, как и на франко-германском. Но чем дальше, тем яснее становилось им, что это чужая, империалистическая война. И когда в России вспыхнула революция, здесь, так же как и во Франции, в окопах раздались возгласы: «Домой!», «Нам здесь нечего делать!» Но возвращение на родину для русских солдат, находившихся в районе Салоник, оказалось таким же трудным делом, как и для их собратьев, застрявших во Франции. Е. Пешков и его товарищи добрались на родину лишь через несколько лет.

Дальнейшая жизнь этого солдата сложилась мирно: он стал артистом.

С собой Е. Пешков привез несколько тетрадей с записями, которые он сделал, находясь в госпитале в 1917 году, и большую пачку любительских фотографий. Это был весьма наблюдательный и интеллигентный человек, он неплохо владел пером. Но Е. Пешков был по натуре весьма скромным человеком, и эти очерки пролежали в архиве его семьи более полувека, так и не будучи опубликованными. Не были опубликованы и сохраненные им фотографии.

Мне представляется справедливым исправить это упущение, и я предлагаю вниманию читателей «Огонька» любезно предоставленные в мое распоряжение вдовой покойного Е. Пешкова некоторые его записи и снимки.

ДОРОГА ОТ АРХАНГЕЛЬСКА ДО БРЕСТА

После долгой, утомительной пятнадцатисуточной езды по железной дороге мы в конце сентября 1916 года, наконец, прибыли к месту погрузки в Архангельском порту. Стоянка эта находилась на Северной Двине, верстах в двадцати от города. По обоим берегам быстрой и мутной реки, у длинных деревянных помостов стояли океанские пароходы. Среди них много было иностранных судов. Многие здесь чинились — заделывали пробоины от ударов снарядов и торпед германских подводных лодок, рыскавших на всем пути от берегов Франции до берегов России.

Нас привели на причал, у которого стояло трехтрубное французское судно большого размера, в несколько этажей, окрашенное в белый цвет. На причале нас держали очень долго. День был пасмурный и холодный, с моря дул резкий ветер, который пронизывал нас насквозь.

Наконец мы дождались погрузки. Появился наш ротный командир, человек не особенно умный, впоследствии оказавшийся дрянью. Тоненьким голоском он пропищал: «Становись!», «Направо!», «Ряды сдвой!», «Шагом марш!».

Мы стали по двое по трапу входить на пароход и спускаться по крутым лестницам в трюм. Там нам было приказано разместиться на разбросанных по полу матрасах. На дне возле борта плескалась вода; во время качки в море она переливалась с одной стороны на другую, так что нам приходилось несладко.

Это был довольно старый пароход, уже немало послуживший на своем веку французам. Вооружен он был одной трехдюймовой пушкой, которая помещалась на корме. Около нее все время дежурили два матроса с биноклями в руках. Экипаж представлял собой


Русские солдаты среди населения Салоник.


Русский кавалерийский разъезд.

Окончание. Начало см. в № 44.

какую-то смесь национальностей: капитан и его помощник — французы, а матросы — бельгийцы, негры, греки, испанцы. Кроме того, с нами плыли семеро англичан; их судно было потоплено в Белом море, они же спаслись случайно: их подобрал в воде проходивший мимо норвежский пароход; теперь они возвращались в Англию.

Путь нам предстоял очень длинный. Мы должны были проплыть Белое, Баренцево, Норвежское и Северное моря—обогнуть Англию, попасть во Францию, пересечь ее на поезде, а затем уже Средиземным морем проплыть в город Салоники. Наш батальон был назначен на Балканы. Солдаты были большей частью молодые, призыва 1916 года, и почти все ехали с охотой, предвкушая удовольствия дальнего путешествия. Об опасностях войны мы по молодости лет как-то не думали...

Первые дни, плывя Белым морем, мы испытывали все радости морского плавания; весь день проводили на палубе, любуясь морем. Только скверно действовали на нас вонючий трюм да скверная пища, которой нас кормили.

А ночью нам пришлось увидеть новую картину, такую же красивую, как и первая: северное сияние! Стало светло, как днем, — свободно можно было читать и писать. Вода уже была не красной, а серебряной, и переливалась с белым отблеском. Глубоко за полночь задержало нас на палубе это необычайное явление природы.

Но вот мы поднялись дальше к северу, и нашей идиллии путешественников пришел конец. Пароход так раскачало, что оно со скрипом и визгом то поднималось на высокую водяную гору, то с шумом летело вниз.

В эту ночь была моя очередь дежурить. Когда я поднялся на палубу, то рядом ничего нельзя было рассмотреть — такая стояла темнота. Огни из предосторожности были погашены. Ветер с ярой силой свистел, растворяя двери, которые беспеременно стучали. Матросы крепили шлюпки, чтобы их не сорвало ветром. Мачты под напором ветра трещали, готовые каждую минуту сломаться. Вся команда была на своих местах, многие не спали...

Так шли дни за днями. Стало тепло, мы плыли теперь по Атлантическому океану, огибая Англию. Солдаты повеселели, запели песни; заиграли гармошки. Тут-то и подстерегла нас беда: наше судно выследила-таки немецкая подводная лодка.

Это случилось 12 октября. Погода в этот день опять немного изменилась, солнце скрылось, и стал накрапывать маленький дождик. Поднимался легкий теплый ветерок. Я сидел на палубе и глядел на большую тучу, которая двигалась на нас от горизонта. У бортов стояло еще несколько человек. Вдруг один из них что-то заметил в море и начал показывать своим товарищам. Я подошел к борту и стал смотреть по направлению его руки. На одном из гребней волны появилась торчащая из воды палка, которая все время ныряла. Перископ!

Побежали доложить дежурному офицеру. Тут же все люди были подняты на ноги. Офицеры с биноклями в руках перебегали от одного борта к другому. «Палка» страшный, оглушительный треск прошибленного торпедой дна.

Один санитар, лет тридцати пяти, с большой черной бородой, накинул шинель на плечи, как плащ, наивно рассчитывая, что так он дольше продержится на воде. Он был на самом верху лестницы и заслонял своей растопыренной шинелью свет, который проникал в двери. «Уйди с прохода, дышать невозможно!» — крикнул кто-то снизу. Солдаты загалдели, требуя, чтобы санитар сел. Но он не слыхал их слов: страх поглотил его всего. Тогда кто-то схватил его за шинель и потащил с такой силой, что у нее оторвалась пола.

Другой солдат, сидя на полу, туго перевязывал веревкой голенища сапог, чтобы туда не набралась вода. «А ты, земляк, шею себе перевяжи, тогда в тебя ни капли не попадет!» — со злой иронией заметил его сосед. Снизу слышался плачущий голос: «Матушка, заступница, прибегаю к твоему милосердию! Внемли мне, грешному, заступница, ради Христа»...

Прошло уже около пяти минут с момента тревоги, и эти пять минут казались вечностью. Но вот раздался какой-то глухой удар, и все наше судно вздрогнуло. Все замерли. Ждали, что вот-вот мы погрузимся в воду. Потом раздался второй удар. Оказывается, это стреляла наша единственная пушка, стремясь отпугнуть подводную лодку.

У двери появился старший врач. «Ребята,— начал он дрожащим голосом.— Не бойтесь. Никто, как бог... Вы ведь сами знаете, что сейчас война. Теперь тысячами ны Америки, и командир немецкой подводной лодки вначале принял нас за американцев; приближаясь к нам, он медлил с атакой. Когда же ошибка выяснилась, немецкий подводник погнался за нами и выпустил торпеду, но промахнулся.

Всю эту ночь мы не спали, ожидая нового появления подводной лодки. Наверху офицеры по-прежнему пили вино, пели песни. Внизу же у нас по-прежнему было тихо; в углу, под трапом, продолжал молиться пожилой солдат 2-го разряда.

Капитан дал радиотелеграмму во Францию, сообщив о происшедшем. Наутро к нам подошла высланная навстречу французская миноноска, которая потом сопровождала нас вплоть до берега. Радости нашей не было конца. Все рассматривали нашу новую спутницу и защитницу. Миноноска была хорошо вооружена, она шла впереди нас. Волны совершенно ее захлестывали, и она то скрывалась в них, то вновь появлялась. Ночью ее можно было заметить по огоньку на мачте.

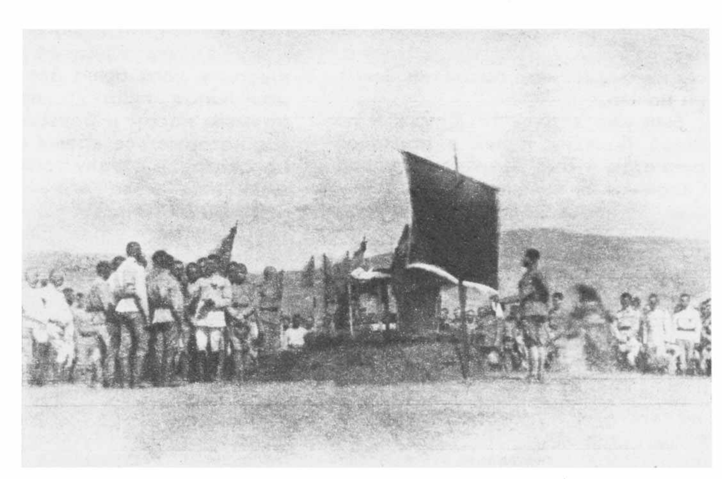
На пятнадцатые сутки нашего плавания мы увидели берега Франции. Мы крикнули «Ура!». Все словно переродились, людей было совершенно нельзя узнать: в их веселых, сияющих глазах светилось столько радости и счастья! Мне вспомнилось, что Христофор Колумб, сойдя на землю со своей каравеллы, поцеловал ее. Мы пережили нечто подобное тому, что он почувствовал: все до одного готовы были расцеловать незнакомый, чужой берег.

Через час мы вошли в порт Бреста и встали на якорь.





Вечер солдатской самодеятельности близ передовой.



Праздник свободы. Македония. 1917 год.

попал в жестокий шторм. С каждым часом качка все усиливалась, у многих закружилась голова, нас стало тошнить.

На второй день шторма почти никто не поднялся, все лежали больные. Те, что нашли в себе силы встать, были бледны. Они, шатаясь и хватаясь за стены, поднимались на палубу и сидели на ветру, чтобы хоть немного прийти в себя, но и тут было страшно. Кругом, кроме воды и пасмурного неба, ничего не было видно. Наше судно бросало как щепку.

В ночь на 8 октября наше судно все продолжала нырять. «Субмарина, субмарина!»—кричали французы, загоняя нас зачем-то в трюм. Люди заметались в трюме в разные стороны, надевая на себя пробковые круги. Слышно было, что наверху тоже бегали люди. Машина работала сильнее.

Но вот раздался сигнал: «Готовьсь!». Все бросились к лестнице. Дело принимало серьезный оборот; толкаясь, без крика мы выстроились. У всех лица были бледные, глаза полны ужаса. Все ждали, что вот-вот раздастся гибнут. Молите бога!» Он нервно поправлял пенсне.

Кое-как мне удалось протиснуться к двери. На капитанском мостике стоял наш батальонный командир в белой папахе, с бледным лицом. Но подводная лодка больше не показывалась. Люди мало-помалу начали приходить в себя. Офицеры поздравляли друг друга с чудесным спасением, пили вино; угостили солдат, которые первыми увидели перископ. Как объяснил капитан, нам действительно повезло: огибая Англию, наше судно шло как бы со стороны

СЛУЧАЙ НА ФРОНТЕ

Да, то, о чем я хочу сейчас рассказать, представляет собой, конечно, всего лишь случай на фронте, самый заурядный, обыкновенный случай, какие на войне можно встретить сотнями,— неожиданная, скорая смерть. И все же этот случай оставил у меня в памяти глубокое, неизгладимое впечатление, и, наверное, на всю жизнь. Пережитое как бы невольно просится под перо, хочется с кем-нибудь поделиться тем, что потрясло меня и что я переживаю

вновь и вновь при одном воспоминании.

Наша бригада находилась на Салоникском фронте, оперировавшем в греческой Македонии. Союзные войска, в состав которых входили и мы, пошли в наступление. Самая большая трудность этого похода выпала на наш русский полк и сербскую моравскую дивизию (из бригады действовал только наш полк, второй был на отдыхе).

Не буду описывать все трудности похода — это заняло бы слишком много времени, да и не так уж важно подробное его описание для моего рассказа. Скажу только, что нам приходилось идти по снежным горам, часто оставаться без куска хлеба, доставка провианта по непроходимым тропам была затруднительной. Каждый холм приходилось брать с боя, преодолевая все трудности и неудобства горной войны. Связь с нашим полком держали французы и итальянцы. Вдоль долины наступали вперемежку сербы, англичане и французы, а по другую сторону этой долины на горах сражалась моравская дивизия сербов.

Как ни трудно было наступать, но наши солдаты прорвали фронт в горах и заставили противника покинуть город Флорина. Вслед за тем в ноябре 1916 года пал город Монастир, но дальше союзным войскам продвинуться не удалось. Враг серьезно укрепился и держал позиции в своих руках целый год.

Мы постепенно передвинулись по фронту вправо, пересекли долину и встали зимовать в горах, сменив сербов. Позиция была неудобная — кругом камни, высокие горы, на вершинах которых лежит снег. Окопы не глубже чем по колено: ни кирка, ни лопата не брала камень. Из-за отсутствия леса у нас не было ни убежищ, ни козырьков, а самое главное — позиции противника — еще выше нас, на горе, а наши ниже; так что он не давал нам покоя ни днем, ни ночью.

Был уже апрель 1917 года. Я по своей болезни попал в полковой околоток и был назначен в город Салоники на излечение. Мы, больные, ждали вечера, чтобы с наступлением темноты отправиться в штаб дивизии, так как днем идти и ехать было невозможно, дорога была под обстрелом. Наш околоток находился за горой, зажатый между скал. В камне были выдолблены четыре ямы, их накрыли сверху палатками. Одна из ям служила приемной и аптекой, в другой помещались санитары и фельдшера, а остальные две занимали раненые и больные, которые валялись на земле без матрацев и одеял. Люди мерзли: хотя в палатках и топились сложенные из камней печки, но огонь разводить можно было только ночью, потому что днем дым демаскировал бы околоток.

Противник все время бил по нашему резерву, по штабу полка и, самое главное, усердно обстреливал дорогу. Через холм, у которого находился околоток, все время свистели снаряды; они загоняли всех нас под скалы в единственное укрытое убежище.

В этот вечер германец особенно часто бил по дороге шрапнелью и тяжелыми снарядами. Мы забрались под скалы и смотрели на дорогу, по которой двигались мулы, навьюченные снарядами, с французами-погонщиками. До поры до времени им как-то все сходило благополучно. Снаряды свистели и падали около дороги, делая недолет или перелет, а караван все двигался и двигался. И вдруг — прямое попадание в дорогу! Над нею встал большой столб дыма, послышался сильный взрыв, за ним раздалось еще несколько разрывов: это рвались снаряды, которые вез мул.

— Василий Петрович,— послышался голос санитара, который находился вместе с нами под скалой.— Надо послать с носилками ребят, кажись, есть раненые.

Наш старший фельдшер скрылся в санитарной землянке, и оттуда вскоре стали выходить санитары с носилками.

— Живей, живей, ребята, шевелись,— торопил фельдшер санитаров.

Санитары с пустыми носилками бросились к дороге.

— Сидорович! — крикнул фельдшер в одну из землянок.— Бинты готовь да посмотри, есть ли у нас теплая вода.

— Есть,— послышался голос из землянки.

Через некоторое время принесли трех французов: один из них был мертв, а двое ранены. Носилки с ранеными внесли в околоток, и их начали перевязывать. Растерзанное снарядом тело убитого было оставлено под открытым небом.

Из приемной слышался стон перевязываемых и спокойный голос фельдшера: «Бинт дай», «Держи, держи крепче», «Лей больше, больше лей» и другие приказания санитарам, которые помогали ему при перевязках. Уже стемнело. Я вошел в нашу палатку. Там горел маленький фонарик и топилась печка; на земле лежало несколько скорчившихся русских солдат, которые дрожали от холода; один из них громко стонал. Вскоре к нам внесли перевязанных французов. При тусклом свете фонаря я с трудом разглядел их. Одному на вид было лет двадцать шесть, у него было бледное продолговатое лицо с правильным прямым носом и большими глазами, которые все время неподвижно смотрели в одну точку и выражали весь ужас его положения. Голова и подбородок у него были забинтованы, из-под бинта торчали черные космы бороды. Он все время дрожал и просил, чтобы его укрыли. «Фруа, камарад, фруа»,— не переставал он твердить, жалуясь на холод. Его накрыли двумя шинелями, но они его не грели. Он был ранен в голову и в обе ноги; раны были большие, мясо было вырвано кусками, однако, несмотря на страдания, он не терял сознания.

Его товарищ был одних с ним лет, но его раны были еще страшней, долго прожить он не мог. По словам санитаров, у него было восемь ран; одной руки у него совершенно не было, нога переломлена. Все лицо ободрано и залито кровью. Длинные курчавые волосы спутались и лежали в беспорядке на голове, пушистые усы запачканы кровью.

Вошел французский офицер с записной книжкой в руках. Наклонившись к тяжелораненому, он стал спрашивать его имя и номер полка. Несчастный открыл глаза и силился что-то сказать, но губы ему не повиновались. Наконец, он сделал над собой громадное усилие и сквозь зубы, с трудом разжимая рот, произнес: «Даву» и добавил: «мор» («мертвый»). Он снова закрыл глаза и больше их не открывал. Французский офицер, записав имя своего солдата, стал говорить ему, что он не умрет, а поправится и будет жить, но тут же добавил, обращаясь к нам, на русском языке: «С этим все кончено!». Потом перешел к другому. Второй мог еще говорить. Офицер записал его имя, фамилию, номер полка, название города и даже адрес семьи и вышел из палатки.

Через два часа раненых отвезли в штаб дивизии. Нам же пришлось ждать возвращения каравана погонщиков мулов с передовой, чтобы вместе с ними отправиться в Салоники.

Я прилег около печки. Уснуть мне не удавалось: все время передо мной стояло мертвое, обезображенное тело убитого француза, виделись страдальческие лица раненых — каким-то кошмаром стояло это все в голове. Желая отвлечься от этих ужасных видений, начинаешь думать совершенно о другом — о доме, о родных, вспоминаешь хорошие переживания из твоей жизни, но нет, все напрасно,— опять лезут эти картины, и ты снова начинаешь копаться в них. Наверно, у несчастных есть семья, жены, дети там за морем; они ждут с нетерпением их возвращения. Как это ни ужасно, но рано или поздно они должны будут узнать о случившемся бедствии. Ты задумываешься над этим, и уже представляется, что не французы так сильно ранены, а ты сам; как встретят эту весть твои родные, близкие?

Встаешь и, желая отвязаться от дум, выходишь из палатки или завязываешь разговор с кем-нибудь из раненых или больных, который тоже не может заснуть. Спрашиваешь: куда ранен? Когда? Откуда он, из какой губернии? И, измученный, постепенно, сидя или свернувшись комочком, засыпаешь. Ведь это только один случай, а сколько таких случаев повторялось ежедневно, так что на это люди начинали глядеть как на обыкновенную вещь: притупились у них нервы, привыкли к этому ужасу.

На рассвете меня разбудили: за нами пришли французы—погонщики мулов. Надо сказать, что на горных тропах мулы — единственно доступный вид транспорта. Вот и раненых возят на них. Устраивается это так: кресло или носилки вешаются на бока животных. Более слабых кладут на носилки и привязывают, а тех, кто здоровее, сажают в кресло и таким образом передвигаются. С нами вместе везли убитого француза, чтобы где-нибудь предать его тело земле.

Утро было морозное, за ночь выпал снег, и дорогу подморозило. Воздух был чистый, и дышалось легко, несильный морозец слегка пощипывал щеки и кончик носа. Туман немного рассеивался. Двигаться по дороге было опасно, но мы обязательно должны были выехать.

Приближаясь к месту вчерашней катастрофы, наш мул вдруг захрипел и попятился назад: он увидел убитых животных и не захотел идти дальше. С трудом удалось провести его стороной.

Но вот мы благополучно перевалили главный горный хребет и оказались вне опасности. На душе стало легче. Послышался легкий разговор между ранеными, языки стали понемногу развязываться.

Когда же мы прибыли на передаточный пункт, я опять увидел вчерашних несчастных французов. Один из них лежал в стороне, уже мертвый, другой же, закутанный в одеяло, все время продолжал стонать. Его часто поили коньяком, стараясь поддержать в нем жизнь, но едва ли это помогало.

Вскоре нас отправили дальше в тыл, и я навсегда с ними распростился.

ОХОТА

После госпитального лечения, когда мое здоровье сравнительно поправилось, я был переведен в команду для выздоравливающих. Здесь жилось гораздо лучше. В моем распоряжении был целый день; я мог работать, гулять до девяти часов вечера, ходить в город, в поле — одним словом, куда мне вздумается. Команда наша помещалась за городом на горе, в больших деревянных бараках. В них находились раненые и больные всех союзных наций.

Кого только здесь не было! Вот группа высоких сербов в своих серых шинелях, с маленькими шапочками на головах, с забинтованными руками и ногами; вот черные, как уголь, негры — сенегальцы, жители знойной Африки с отмороженными ногами; смуглые загорелые арабы в своих красных фесках; маленькие аннамиты с крашеными зубами, завезенные из Индокитая; бегающие из барака в барак французы; русские, греки. Все они здесь долечивали свои заживавшие раны.

Места вокруг наших бараков были скудные и скучные; кругом отлогие голые холмы без всякой растительности; куда ни посмотришь, песок, камни да высокие горы. Но вид с нашей горы был великолепный, в особенности на море.

Несмотря на декабрь, погода была теплая, и солнце ярко играло на крышах домов, на вышках турецких мечетей, золотя их полумесяцы, на голых скалистых камнях, и весело спускалось, купая свои теплые лучи в море. Небо было безоблачное, чистое, нигде не было видно ни одного пятнышка; стоящие в бухте госпитальные суда рельефно выделялись среди других своей белой окраской и большими красными крестами на бортах и трубах. Далеко в море белели паруса рыбачьих лодок; вдоль берега шла сторожевая миноноска; из труб нескольких судов столбом поднимался черный дым; они, по-видимому, готовились к отплытию.

Время приближалось к обеду, весь наш барак был в сборе. Вдруг мы услышали какие-то отдаленные глухие разрывы. «Бош! Бош!» — закричали французы и выбежали из барака. Я последовал за ними. Грохот разрывов все усиливался. Все смотрели куда-то вверх, прикрывая руками или фуражкой глаза от сильного, яркого солнца.

Я увидел, что горная английская артиллерия стреляет вверх; вверх палили и пушки с фортов. Оказалось, что над Салониками появился германский аэроплан, который и обстреливали. Мы долго всматривались в небо, желая обнаружить неприятеля, но его нигде не было видно. Мы видели лишь, как высоко в воздухе рвутся снаряды, образуя белые облачка, которые постепенно расплывались и исчезали. Разрывов было так много, что среди них трудно было что-

В. Буланкин. (1921—1974). ОКТЯБРЬ.

Е. Дешалыт. ШТУРМ.



В. Холуев. СОЛДАТЫ РЕВОЛЮЦИИ.





В. Серов (1910—1968). В СМОЛЬНОМ. (Фрагмент.)

нибудь заметить. Можно было лишь догадываться, что неприятель находился где-то там, среди этих облачков.

Вскоре один из негров, стоявший здесь же, с забинтованными ногами, что-то закричал и стал показывать рукой в голубое пространство.

Все стали смотреть по направлению руки негра и заметили, как из-за нового облачка разрыва на фоне голубого неба появилось черное пятнышко. Оно дрожало в воздухе, и первое впечатление было такое, что пятнышко стоит на одном месте. Это и был германский аэроплан. «Бош» находился высоко, снаряды до него не долетали и рвались гораздо ниже. Мы стали следить за этой точкой, которая незаметно двигалась к морю. С моря ее тоже встретили обстрелом с судов; заговорили морские батареи. Прицел моряков был взят гораздо лучше, и теперь снаряды рвались около аэроплана и даже выше его.

Летчик медленно уходил от обстрела, оставляя за собой светлую полосу газа от работающего мотора. Но вот снаряды стали нагонять уходивший аэроплан, и один даже разорвался перед самым его носом.

Аэроплан сразу изменил свой полет: сначала он совершенно отвесно пошел вниз, а потом стал забирать в сторону, чем окончательно сбил с прицела артиллеристов, после чего снаряды стали рваться в беспорядке в разных направлениях. Весь воздух, казалось, стонал от несмолкаемой канонады. Движение на дороге было приостановлено: каждый смотрел на эту охоту. В городе происходило то же самое: задрав головы, все таращили глаза, останавливаясь среди улицы и на углах; прекратилось движение трамваев, автомобилей, всевозможных фур и грузовых повозок. Английским и французским полисменам с трудом удавалось наводить порядок, очищая улицы от любопытных зевак.

Хитрый авиатор то поднимался, то уходил в сторону, то камнем спускался вниз, стараясь сбить артиллеристов с прицела. Снаряды рвались впереди его, позади, снизу, сверху — одним словом, со всех сторон. Батарейный огонь совершенно скрыл самолет в облаках разрывов. Все думали, что все кончено — аэроплан сбит. Но вскоре, когда дым немного рассеялся, он появился опять, набирая высоту и удаляясь от нас. Наконец самолет скрылся с наших глаз.

Мы стали расходиться по баракам, возвращаясь к прерванному обеду. Не успели мы расположиться за столами, как воздух снова огласился звуками работающих моторов. На сей раз пять французских аппаратов поднялись с земли и полетели в ту сторону, где скрылся неприятель. «Да, уж после драки кулаками не машут!» — заметил кто-то на русском языке.

За столом заговорили о том, что германские аэропланы стали довольно часто посещать Салоники.

— И вот сколько я уже здесь живу, почитай, 8 месяцев, и ни разу германца не сбили,— рассуждал один русский бородач, устроившийся в госпитале санитаром. Он ходил вдоль коек с ведром и разливал больным суп.

— Неужели, земляк, ни разу? — спросил один из молодых солдат, получая свою порцию супа.

— Да уж дожидайся! Бьют, бьют, а толку мало. Сколько снарядов выпустят, кажись, все небо застят, а ему хоть бы хны! То ли дело у нас в Расее! Помню, когда мы под Ковной стояли, прилетел вот такой германец и давай кружить над нашими окопами, давай высматривать, как все у нас устроено. Смотрим мы, наши батарейцы орудие свое вертят, наводят, значит, на прицел. Повертели, повертели да как трахнут по германцу. С одного раза сшибли! Он, братцы, глядишь, задрожал весь да как птица подстреленная все ниже да ниже, а потом перевернулся в воздухе два раза да турманом вниз и полетел, и летчик из него на лету выпал. Жаль только, на свою сторону, за лес упал, не пришлось нашим его забрать... Вот как бить надо! А этим куда до наших артиллеристов. Только после говорили, что нашего артиллериста, что германца сшиб, арестовали, и он три месяца под арестом сидел.

— Да за что же? — полюбопытствовал ефрейтор, раненный в ногу.

— Вишь, без разрешения огонь открыл. У нас завсегда так. Эх, если б нашим да столько снарядов, сколько у этих, так, может, и войне давно конец был бы! — заключил санитар со вздохом.

Я и сам удивился, почему здесь стреляют так неудачно,— за все время ни одного аэроплана не сшибли. А ведь тут, при Салониках, очень много авиационных парков, много аэропланов, гидропланов, которые все время летают над городом и морем. Но эти авиаторы почему-то в бой не вступают; наверно, это все молодые летчики, иначе трудно объяснить их неуспех...

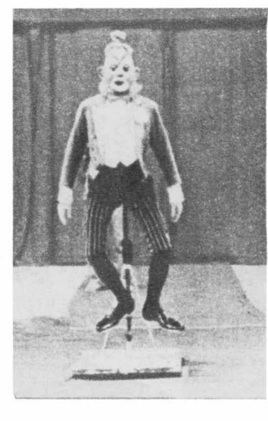
Принесли кашу, и мы занялись ею; разговор постепенно затих. Знали, что завтра или послезавтра будет то же самое: прилетит германский аэроплан, союзники выпустят по нему несметное число снарядов, и все кончится так же, как и сегодня.

* * *

Читаешь эти записи русского солдата Е. Пешкова, проникнутые столь острым ощущением горечи и бессмыслицы чужой и такой неудачной войны, в которую ввергли его самого и его однополчан царские генералы, и явственно видишь русских юношей в грубых серых шинелях, недоумевающе глядящих на окружающий их пестрый и непривычный мир и мечтающих только об одном: скорей бы вернуться на родину, где уже началась революция, возвещающая мир и новую жизнь!

Война на фронте в районе Салоник продолжалась еще долго. Только в сентябре 1918 года союзное командование, собрав восемь французских, четыре английских, шесть сербских, десять греческих, около двух итальянских дивизий — всего около полумиллиона штыков при двух тысячах с лишним орудий,— смогли развернуть наступление и нанести поражение германской армии и ее союзникам.

Но наши полки уже не участвовали в этих сражениях. Русский экспедиционный корпус перестал существовать. Его солдаты рвались на родину, чтобы принять участие в защите своей революции. Начиналась новая глава истории.



РЕДКИЙ ЖАНР

Али Аскеров работает в редком сегодня цирковом жанре — мотофозо. «Мотофозо» — это человек-кукла. Большая забавная игрушка с тонкими ножками, торчащими из-под огромного клетчатого пальто. Коверный клоун выкатывает куклу на арену, и она смешно качается на тонком штыре, сжимая в гуттаперчевых руках серебряный саксофон.

Клоуну повезло: кто-то забыл эту куклу за цирковым занавесом-форгангом, и клоун не растерялся, вытащил ее на манеж — что за игрушка? Он вертит на пальце ключик, заводит пружину в кукле, и она начинает вести медленную и чистую мелодию, покачивая в такт ножками-спичками.

Потом клоун снимает с нее пальто и красный котелок и с радостью обнаруживает множество ниточек, пуговиц на фраке, которые, если их подергать, приводят в движение механического человечка, заставляя его выделывать уморительнейшие па. А если саксофон заменить кларнетом, то и мелодия будет совсем другой, веселой и звонкой...

Много лет назад законы этого, почти забытого сейчас, жанра требовали, чтобы кукла была неподвижной. Али Аскеров не побоялся изменить их, и его кукла — кукла, которую он играет сам,— ожила, заиграла, задвигалась. Она почти живая, но именно почти, ровно до той грани, которая позволяет и коверному и зрителям считать ее игрушкой, пусть сложной, пусть вполне механизированной, современной, но игрушкой.

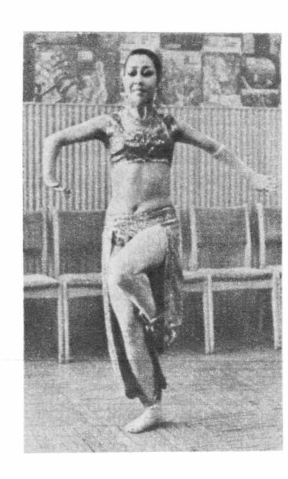
У Аскерова — две маски. Одна — голубоглазый, вечно удивленный безымянный дурачок-музыкант. Другая — наш старый знакомый Буратино. Вероятно, масок могло быть больше — суть не в этом. Кукла — какая бы она ни была — игрушка выдумщика и фантазера. С ней можно играть посякому и в разные игры. И Аскеров придумывает для своей пантомимической сценки с коверным новые и новые трюки, всем своим номером опровергая унылых скептиков, утверждающих, что в цирковом искусстве ничего нового уже не придумать: ведь такого номера в цирке еще никто не создавал.

С. АБРАМОВ

На фото: выступает Али Аскеров.

МИР ТАНЦА

В ГОСТЯХ У «ОГОНЬКА»



Мухаббат танцует... И точно тайная сила переносит нас в мир древнего Востока, сказок «Тысячи и одной ночи»... Дочь Узбекистана, молодая танцовщица принесла на сцену все лучшее, что веками создавали плясуньи в селениях ее родины. Мухаббат Абдуллаева творчески разработала эти танцы, обогатила их так, как искусный ювелир отшлифовывает первозданный камень, придавая ему блеск и законченность...

Мухаббат неизменно танцует одна, без партнера, под музыку своеобразную, чуть томную. Иногда музыка затихает. Тогда мы слышим лишь позвякивание браслетов и ожерелий танцовщицы. Движения ее то плавны, то стремительны, порою она замирает на месте, и тут танцуют ее руки, кисти рук, пальцы, даже каждый палец в отдельности.

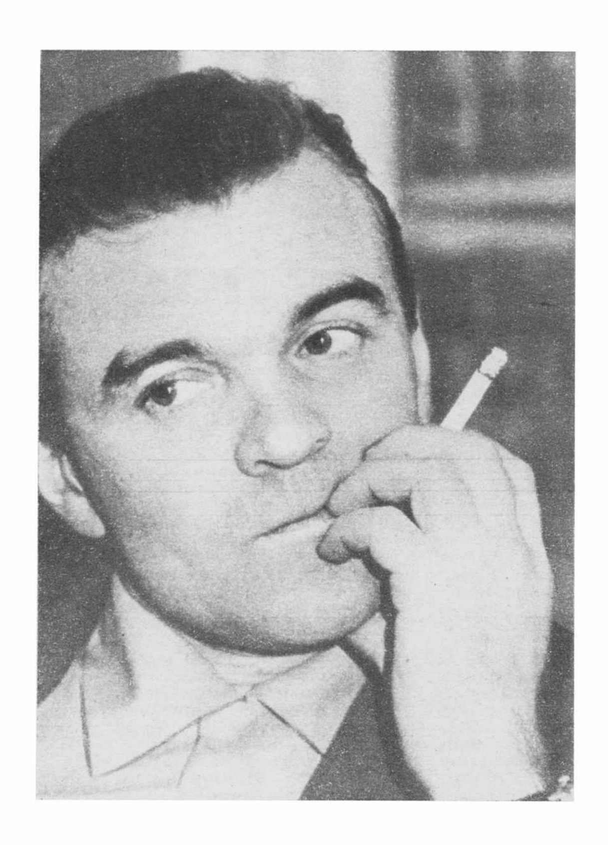
Танец может длиться долго. Но нет повторения в этих гармонических переливах движений танцовщицы. Особую мягкость придает танцу Мухаббат то, что она выступает без обуви, как знаменитая босоножка Айседора Дункан.

Мухаббат создала множество восточных танцев: «Старинные фрески», «Байсунский», «Индийский», «Арабский танец со свечами» — всех и не перечесть!

Абдуллаева всегда в поиске нового, хотя ее репертуар обширен; в нем — пляски народов Бирмы, Индии, Сирии, Египта, Латинской Америки, Японии, Африки... Каждое выступление талантливой танцовщицы необычно и завораживающе.

Начав выступать совсем юной в знаменитом узбекском ансамбле «Бахор», Мухаббат теперь артистка Москонцерта. Она побывала во многих городах нашей страны и за рубежом, и пресса всегда посвящает ей восторженные отзывы.

П. РОГОЗИНСКИЙ
Фото А. Бочинина.



БЕРЕГ

Юрий БОНДАРЕВ

Рисунки И. ПЧЕЛКО.

Воздушный лайнер гудел реактивными двигателями на высоте девяти тысяч метров, и здесь в солнечном арктическом холоде за толстыми стеклами иллюминаторов сияли глыбами, проплывали по горизонту ослепительно-сахарные айсберги, а где-то в белой глубине, ниже их, закрытая сплошной льдистой грядой облаков, оставалась как бы потерянная земля.

И хотя сознанием измерялась страшная глубина под чуть-чуть вибрирующим, неуклонно летящим в поднебесье полом, в теплых салонах стало оживленно, уютно от солнца, от наконец начатого удачно полета после задержки из-за тумана на аэродроме. Везде потянулись, заслоились по салону в плоских сверкающих лучах легкие, особенно душистые сейчас дымки сигарет, пассажиры расстегивали привязные ремни, откидывали поудобнее спинки мягких кресел; везде зашуршали разворачиваемые газеты, розданные двумя очаровательными своей молодой стройностью и нежными, приглашающими улыбками стюардессами (будто сказочно сошедшими с реклам международных рейсовых расписаний); досасывались взлетные карамельки, которые несколько минут назад с теми же пленительными улыбками разносились на подносиках; потом уже в разных концах салона зазвучала русская и немецкая речь — мирно обволакивала общая дорожная успокоенность, безмятежное ощущение дорожного комфорта, надежда, что все обещает быть незатруднительным, удобным, как бывало и будет всегда.

Это освобожденное чувство оторванности от всего домашнего, будничного, первоначально возникшее на аэродроме и теперь раскованно-приятное в самолете, среди открывшейся солнечной высоты за иллюминаторами, приглушенного рева мощных двигателей, услышанной чужой речи, среди благостного салонного рая, ритуально освященного ласковыми улыбками длинноногих стюардесс, этих непорочных ангелов-хранителей душевного покоя в небе,— чувство не отягощенного заботами полета было знакомо Никитину, и он сбоку вопросительно взглянул на Самсонова — вместе им летать не приходилось ни разу.

Самсонов, еще опоясанный по круглому животу застегнутым ремнем, с рассеянным любопытством поворачивал голову к соседним через проход креслам — там, перелистывая на коленях журналы, громко разговаривали три пожилые, туристского вида немки, указывали дымящимися сигаретами на занавеску впереди салона, куда ушли стюардессы. Сквозь звон двигателей Никитин разобрал слова «эссен», «фрюштук» и сказал весело — хотелось говорить о пустяках:

— Платоша, расстегни ремень и не прислушивайся к чужому разговору. О чем они? О завтраке, как я догадливо сообразил, который сейчас неизбежен? Неплохо было бы закусить холодной курицей и выпить минеральной.

— Немочки умирают от голода,— ответил, вздыхая, Самсонов.— Говорят о том, что давно позавтракали в гостинице «Метрополь» и не мешало бы подкрепиться. Они из Кёльна. Милые создания... Только услышу эту речь, и срабатывает рефлекс. Интоксикация. В войну я с ними наговорился — сыт на всю жизнь...

— Нет, Платон, холодная курица после коньяка — это вещь в самолете незаменимая.

Самсонов отпустил ремень, пошарил кнопку для откидывания спинки кресла, неуклюже откинулся, долго сопел, обратив к Никитину широкоскулое свое лицо, вглядываясь усталыми, иконными глазами,— прежней колкой остроты не было в них, а была грустная подозрительность интереса узнать причину вот этой шутливой фразы Никитина, словно бы исповедующего сейчас этакую философию бездумного счастья туриста, беспечно полулежавшего в кресле и занятого лишь мыслью о холодной курице и минеральной воде.

— Я вижу, Вадим, что ты доволен началом одиссеи. Н-да, что-то будет.

— А знаешь, я рад, что лечу к немцам именно с тобой, Платоша,— сказал Никитин.

— Взаимно,— пробормотал Самсонов.— Это чувство имеет место.

Они были знакомы лет пятнадцать — семнадцать. В течение этих лет их пути нередко перекрещивались и почасту соединялись, книги обоих выходили почти одновременно. При всей разительной несхожести манер — жесткой эмоциональности, нервной обнаженности Никитина и спокойной, выверенной прозы Самсонова, что непостижимо противоречило внешним проявлениям обоих,— их довольно прочно упоминали рядом в одних и тех же критических статьях о послевоенном поколении, и хотя каждый понимал различность своих манер, разность во многом, их постоянно тянуло друг к другу — это объединенная одним опытом судьба поколения военных лет и что-то еще, за долгие годы знакомства неугаданное в общении, порой скрытое иронической полушуткой, даже в вечерних телефонных разговорах, приблизительно таких: «Загордился, Вадимушка? Не звонишь? Лежишь на диване, покуриваешь и пожинаешь лавры? Когда ты успеваешь повести строгать, классик? Негров нанял? Прочитал, прочитал. Профессор твой — ничего, девка на переправе с узкими глазками тоже ничего, а генерал — совсем не в дугу, интеллигентик он у тебя, таких не было. Вот, подожди, закончу свой опус — младенцами вы все окажетесь». «Не сомневаюсь, Платоша, весь читающий мир давно ждет по-

Главы из нового романа.


HAM

трясений, и поклонницы уже выстроились с цветами у твоего порога, посмотри в окно и увидишь». «Подожди, Никитин, подожди, еще будешь проливать горючие слезы над моими страницами,— смеялся по телефону Самсонов, после чего на память говорил короткую мускулистую, прекрасную фразу, нагруженную настроением и смыслом.— Ну, позавидовал? Рвешь волосы? Вот так, ребятушки мои, писать надо. Три года обдумывал конец. Эх, какие вы ребенки еще!»

Самсонов работал чрезвычайно медленно, по строчкам, по абзацу в день, в сомнениях выдавливал слова с трудолюбивой мукой, веря и не веря в их силу, ненавидя эпитеты и все же густо насыщая ими фразу, до предельной тесноты, но при этом был всегда воздушен, тонок, особо прелестен конец вещи, последние главы. Однако, когда говорили ему о некоторой стилевой перегруженности, он держался за каждое слово, защищал его сопротивлением бычьим, багровел, загорался гневом, устраивая затяжные скандалы с редакторами издательств, и иные критики побаивались его неудержимых взрывов, ударов «под дых», иные считали его неудобоваримым крикуном, не стесняющимся грубых «кавалерийских наскоков» на собратьев по перу, ибо иногда, по случаю, встретив в кулуарах клуба какого-нибудь неосторожного критика, он кричал ему вспыльчиво:

— Артельные Сократы вы, домашние правдолюбцы, жуете и пережевываете оскоминные аксиомы за рюмкой водки? Вам нравится косноязычный телеграфный стиль? Я не телеграфист! Я слишком подробен? И останусь таким! Мне наплевать и позабыть все, что вы пролепетали здесь! Начхать! У меня диспепсия от вашего модного словотечения, от вашей менструации мысли. Я вас нежно люблю и обнимаю. Я иду в аптеку и покупаю камфару-рубини для очищения желудка!

Эта раздражающая многих упорная неподдаваемость Самсонова, нажившая ему недоброжелателей и вместе почитателей (твердость уважают), более всего приближала к нему Никитина — в этом была военная косточка прошлого, та самонадеянная уверенность в себе, что так необходимо было тогда... После первой книги он привык к тому, что Самсонов ревниво, с особенным пристрастием читал его, скупо хвалил и ругал, вроде бы удерживаясь высказать окончательное суждение, причем толстоватое лицо возбужденно покрывалось красными пятнами, глаза под стеклами очков становились влажными, грустными, горячечными. И в те минуты представлялся почему-то Никитину его кабинет, неуютный, сумрачно темный от громоздких книжных шкафов, от старинного, с чудовищно-массивным чернильным прибором письменного стола, заваленного безалаберно рукописями, книгами, кругло и мелко исписанными листками бумаги, на них виднелись кольцеобразные следы, оставленные чашками кофе, который он беспрерывно пил во время работы, представлялась широкая тахта в углу, его муки за этим столом и на этой тахте, где он, обессиленный, лежал, уткнувшись лбом в подушку, мыча, бормоча что-то в поисках слова, фразы,— так Никитин застал его однажды, зайдя утром в часы работы.

И стоило лишь вообразить страдания Самсонова перед чистым листом бумаги, его пытку неуловимым словом, как Никитин испытывал почти стыдливое чувство — он заставлял себя сидеть за столом часов по девять, но писал легче, быстрее, независимо от нескончаемой правки, и если процесс работы Самсонова можно было назвать мучительной каторгой (четыре часа в день), то его работа была каторгой двойной по протяженности, но все же сладкой. Поэтому, когда речь заходила о книгах Самсонова, он был чересчур мягок и полушутя говорил в таких случаях, что принимает и закономерность усложненной фразы, так как упрекать, пожалуй, следует только писателей-скворцов, беззастенчивых имитаторов чужих звуков, выдаваемых за найденные истины. Он, не желая обидеть Самсонова, не переступал порог полной искренности.

— ...Черт с ними, с немками и завтраками,— сказал Никитин, шире раздвинув шторку на окне.— Посмотри-ка на солнце, Платон, и к вечности прикоснись, земные заботы забыв... Ничего себе дую гекзаметром, кажется, отбиваю хлеб у поэтов?

— Боюсь, начнешь сейчас рявкать арии из оперетт на весь салон,— бормотнул Самсонов.— Чему восторгнулся?

— На земле осень, туман, а тут — чистота, голубизна, никакой осени — вот что прекрасно, Платоша!

За иллюминатором слепил в холодном пространстве металлический блеск высотного солнца, рафинадные торосы, курчавясь, неподвижно сверкали краями остропиковых вершин на бесконечной белой равнине застывших внизу облаков. В воздухе отовсюду излучался неограниченный снежный свет, этот свет ходил вместе с солнцем по салону самолета, пронизывая дымки сигарет над спинками откинутых кресел.

Самсонов нарочито-равнодушно скосился на ослепляющее стекло иллюминатора, проговорил:

— Лучше скажи вот что... Литературное общество в Гамбурге, что за фрукт, что за така штука? Какой ориентации? Задвинь занавеску, глаза режет...

Никитин наполовину задернул скрипнувшую рамками шторку, спросил:

— Что именно тебя беспокоит, Платоша?

— Хотел бы я знать, в какие западногерманские руки мы попадем. Тебя это не беспокоит?

— Насколько мне известно из писем некой фрау Герберт, они приглашают для встреч прогрессивных писателей мира. В том числе из Восточной Европы. Были поляки — мы приглашены вторыми. Но ты это знаешь.

— Положим. В общих чертах. А кто такая фрау Герберт?

— Не имею понятия,— ответил Никитин и написал пальцем на стекле невидимую фамилию «Герберт».— Судя по написанию фамилии, старушенция в белом кружевном воротничке, благородного, аристократического воспитания, влюбленная в русскую литературу — Достоевский, Чехов, Толстой,— ну, да вот прочитай ее последнее письмо...

Он достал записную книжку, вытянул из середины сложенное вчетверо письмо, и Самсонов развернул глянцевито-белую бумагу, плотно заполненную машинописным текстом, пошевелил бровями, стал читать, переводить, комментировать вслух.

— «Глубокоуважаемый господин Никитин! (Ах, ты, оказывается, господин. Ну, тогда все ясно... Как это тебя раньше не разглядели при папе, не вывели на чистую воду?) Литературный клуб города Гамбурга имеет функции встречаться за круглым столом... (Как модны стали эти круглые столы, Вадимушка, не за столом, а на тебе — за круглым... по темноте своей понял: значит, без острых углов) с писателями стран Европы, обмениваться мнениями о современной культуре, проводить дискуссии на тему «Писатель и современная цивилизация» в атмосфере дружелюбия, независимо от того, в какой стране живет писатель — в системе западного капитализма или восточного коммунизма. Три ваших новеллы, господин Никитин... (Новеллы, господин Никитин, смею вам заметить, по-европейски — романы, запомните глубокоуважаемый.)

— Благодарю вас, господин Самсонов, продолжайте.

— Продолжаю... переведены в Западной Германии издательством «Вебер», о вас писали в журналах «Штерн», «Шпигель», о как о восходящей звезде на Востоке, и ваша последняя новелла «Дорога назад» пользуется у нас большим успехом... (Ты смотри, что делается, стал любимцем западной публики. Покорил Запад, посшибал всех с ног своей «дорогой» и еще сидит со скромным видом, как простой смертный!)

— Ерничай, ерничай, Платоша, но мотай на ус.

— ...в среде интеллигенции и молодежи, и мне приятно сообщить вам, что в моих книжных магазинах за две недели были распроданы все экземпляры... (Ого! Готовь чемоданы для гонорара, Вадимушка. Хоть шерсти клок... Разоряй капитализм дотла, пускай их по миру с протянутой рукой.)

— Читай, читай.

— ...Известный профессор литературы и критик из издательства «Родвоьль» доктор Кунц определил ваш талант как трагический, он писал, что у вас два кровных отца — Достоевский и Толстой,— а между тем я думаю, что вам гораздо ближе Чехов, хотя конец последней новеллы очень тяжелый, вы так омрачаете сердце! Вы так безжалостно погубили в начале войны своих героев, что слезы выступают на глазах и с печалью долго не расстаешься. Это так грустно. (Вот тебе и фрау, выдала по первое число, как какой-нибудь бодренький критик. Пессимист ты, оказывается, певец трагических сторон!)

— Как видишь.

— ...Простите, господин Никитин, за очень смелое с моей стороны замечание, но оно ведь высказано в личном письме, и если оно вас сколько-нибудь обидело, не обращайте внимания. Писатель не должен никого слушать, кроме себя... (О, эта фрау, оказывается, с хитрецой, ввинтила мысль о независимости писателя! Уже начала дискуссию — и все тут.)

— Читай дальше.

— ...Литературный клуб хочет, чтобы вы посетили нас, и послал вам приглашение 20 августа, но ответа от вас до сих пор не получили. Очень прошу вас ответить, как скоро можете вы быть в Гамбурге. Если у вас есть возможность посетить наш город в срок между 10 и 20 ноября, то мы сделали бы все, чтобы ваше пребывание у нас было приятным. Если вы не разговариваете на немецком языке, то мы будем рады вашему приезду с переводчиком. Примите с уважением и признательностью привет от вашего издателя, господина Вебера. С самыми наилучшими пожеланиями и ожиданием вас. Госпожа Герберт, член Литературного клуба. ПЭЭС. Сообщите перед вылетом рейс самолета, и на аэродроме в Гамбурге я встречу вас. Надеюсь, я узнаю вас по фотографии в вашей книге, в том случае, если вы, конечно, сильно не изменились.»

— Любо-пытно и занят-но,— сказал Самсонов, возвращая письмо Никитину, и, потянув воздух носом, возвел грустные, иконные глаза к потолку салона.— Будут рады и переводчику. В качестве инкогнито из Иностранной комиссии. Красиво! Я — переводчик. Вдвойне красиво! Бросил собственный роман на сто двадцатой странице, лечу в Гамбург, страдаю из-за тебя, как дурошлеп. Во имя каких благ? Не хватит коньячку, чтобы расплатиться со мной. Так-то! Но зачем я тебе как переводчик? Ты сам способен лезен унд шпрехен дойч! Для свиты, что ли, предложил меня?

— Мои знания в немецком языке по сравнению с твоими — горькие рыдания,— ответил Никитин.— Я хотел, Платон, чтобы именно ты поехал со мной. И не в качестве переводчика. Это проформа для Иностранной комиссии. Вдвоем нам будет легче во всех смыслах.

Самсонов снял очки и, кулаками протирая глаза, шумно зевая, заговорил фальшивым сквозь зевоту голосом:

— Жалко мне тебя, господин Никитин, что-то подозрительно шибко начали ласкать тебя на Западе. Смотри — головка не закружилась бы. Не вознесись в гордыне, не выпрыгни из штанов. Это я по поводу письма и прочая... Опасаюсь — кино тебя развратит, легкие деньги и всякие западные поклонницы типа госпожи Герберт. Паришь, как ангел, не приземлись, как черт.

Он снова зевнул, широко, по-сомовьи распахивая рот, отчего получилось растянутое зазывание «аха-ха-ха-а», и Никитин засмеялся, сказал:

— Постараюсь следовать твоим руководящим указаниям, Платоша. Зеваешь же ты в высшей степени гениально. Неужели спать?

— Так вот, звезда Востока, вникни во все, рассчитай, подумай, сообрази, как жить дальше, а я пару минут шляфен, шляфен...

Самсонов скрестил руки на груди, прикрыл веки, глубоко дыша носом, лицо стало отрешенным, страдальчески сердитым, какое бывает в моменты отдыха у переобремененных постоянными заботами людей. Он задремал или хотел задремать после усталости суетных волнений, аэродромного ожидания, долгих разговоров, и толстоватые руки его, скрещенные на груди, его поза выражали покойное достоинство знающего себе цену человека.

«За кого сейчас его можно принять? — подумал Никитин, веселея, представив чужой взгляд на Самсонове.— Состоятельный отец

семейства. Благополучен, обаятелен в своей полноте, дела идут хорошо. Чем-то озабочен, хотя все стабильно. Что еще? Благоразумен, аккуратен, любит порядок в своем доме. Портрет не сомневающегося в истинах человека. Литературные реминисценции... Но почему я подумал об этом? Да потому, что отлично,— мне будет легче с ним...»

●

Еще чувствовалось подрагивание, невесомое ныряние пола самолета, еще звучал в заложенных ушах звенящий рев двигателей при посадке, поэтому, когда вместе с группой пассажиров они вошли через пневматические двери в стеклянное здание гамбургского аэропорта, окликнувший женский голос нечетко дошел до них:

— Господин Никитин?..

Довольно высокая, в темном костюме женщина лет сорока, с прядями чистой, аккуратной седины в каштановых волосах, улыбаясь им издали, сразу же быстро направилась к обоим из толпы встречающих около дверей первого зала, и Никитин, тоже улыбаясь, поставил тяжелый от четырех бутылок коньяка портфель, не вполне твердо проговорил на немецком языке:

— Госпожа Герберт! По-моему, я не ошибся? Здравствуйте! Да, я Никитин. А это мой друг — писатель Самсонов (Самсонов, чрезмерно корректный, сдержанно кивнул фрау Герберт). Значит, вы все же узнали меня? По фотографии? Неужели?

— Да, да, господин Никитин. Я очень рада, что вы приехали! Мы так долго ждали вашего приезда! Мы уже потеряли всякую надежду...

Она неожиданно крепко ответила на его рукопожатие, она смотрела ему в лицо, и в ее молодых, не соответствующих седине, возбужденно-радостных синих глазах мелькало подавленное улыбкой выражение, похожее на испуг и растерянность. Она повторяла:

— Да, да, господин Никитин... Я прошу вас к машине. Она здесь недалеко. Нет, сначала мы получим вещи. Как вы чувствуете себя после самолета?

— Терпимо,— ответил Никитин.— Спасибо. Кажется, живы оба.

И когда, в зале багажа получив вещи, вышли из здания аэропорта и фрау Герберт, не расслабляя на губах улыбки, незамедлительно повела их к стоянке машин, Никитин заметил, как на ходу она излишне торопливо и нервно принялась дергать, расстегивать замочек сумочки, доставая, по-видимому, ключик зажигания.

— Господа, только одну минуту... Мы сейчас поедем в отель. Чемоданы, пожалуйста, в багажник. Если вам удобно, господин Никитин, то сядьте рядом со мной. Так будет лучше разговаривать.

Машина госпожи Герберт, новый, весь влажно отливающий лаком вишнево-коричневый «мерседес», была удобна, вместительна — погруженные два чемодана поглотил огромный багажник, и здесь, в машине, сев возле фрау Герберт, Никитин внятно почувствовал пряный запах невыветренных духов, разбавленный горьковатой химией синтетической обивки, запахи чужой жизни, чужих вещей, всегда обостренно воспринимавшиеся им вдали от дома, и подумал томительно:

«Вот я и опять за границей».

— Сигарету? — спросила фрау Герберт.— Господин Никитин? Господин Самсонов?

— Спасибо, я до чертиков накурился в самолете. Подожду.

— Аналогично,— ответил Самсонов.— Воздержусь.

А она снова, торопясь, подергала замочки, расстегнула на коленях сумочку, тотчас вынула пачку сигарет, зажигалку, закурила с жадностью, выдохнула дым, толкнувшийся в ветровое стекло, потом стала натягивать перчатки, тесные, скрипящие тонкой искусственной кожей.

— Простите, одну минуту...— проговорила она.— Вы первый раз в Гамбурге, господин Никитин?

— Вы спросили, первый ли я раз? Да. Я вас прошу, фрау Герберт, говорить медленно. Иначе не пойму с непривычки. Лянгзамер, битте.

Она виновато поморщилась, на левую руку ее тугая и узкая, как змея, перчатка полностью не натягивалась, никак не поддавалась — тогда она сорвала ее с пальцев, скомкала, бросила на сиденье, к сумочке, и спросила очень медленно, поворачивая машину на мокрый брусчатник мостовой:

— Но хоть раз... когда-нибудь вы были в Германии, господин Никитин?

— Был в войну. Сорок пятый год, фрау Герберт.

— В Берлине?

— Нет, в трех городах. Берлин, Потсдам, Кёнигсдорф. Однако Кёнигсдорф — это дачный, маленький городок, вы можете его и не знать,— сказал Никитин.

— О боже мой, вы были в Германии! — одними губами выговорила она и, неутоленно затягиваясь сигаретой, опять спросила, выделяя каждое слово:— Скажите, господин Никитин, неужели мы все еще помним, что была война?

— К сожалению, фрау Герберт.

Он отвечал ей так же замедленно, вникая в звук немецкой речи, в растягиваемые ею точно на домашнем уроке фразы, и, отвечая, не без интереса глядел по сторонам на сумрачно-серый, ноябрьский, сыплющий мелким дождем город, насквозь сырой, набухший влагой, прижатый низко огрузшим над крышами пепельным небом, на рано зажженный свет за витринами магазинов, на непрерывное движение черных зонтиков по тротуарам, на их густое скопление на переходах под светофорами.

Он смотрел на обмытую, еще не по-осеннему зеленую траву тщательно подстриженных газонов, по которым ходили, белели пятнами нахохлившиеся чайки, и подсознание привычно пыталось задержать и эту морскую сырость, и сумеречность осенних улиц, и это скольжение мимо витрин одинаково влажных креповых зонтиков в тумане дождя, и механическое мигание на перекрестках светофоров, сразу сдерживающих и сразу выпускающих в ущелья улиц одержимые скопища машин. Непроизвольное запоминание, эгоистическая работа подсознания была второй сущностью Никитина, хотя он и знал, что многое, к сожалению, забудется позже, останутся лишь размытые временем детали или первые запахи, как запах химии и духов в машине, или вот этот быстрый жест, каким сорвала тесную перчатку фрау Герберт после того, как попыталась и не хватило терпения натянуть ее до конца, или как жадно прикурила она от крошечной золоченой зажигалки, дрожавшей в руке.

Он поглядел на нее вопросительно. Она нервным жестом стряхивала пепел с сигареты в выдвинутую пепельницу, невнимательно остановив взгляд на водяной пыли, лужицами оседающей на капоте. «Дворники» с однотонным трущимся звуком махали по грязному стеклу, размазывая туманные полуэллипсы, и, Никитин, разом ощутив промозглую влагу гамбургских улиц, постукивание капель по зонтам, запах намокших синтетических плащей в теплоте магазинов, где уже бледно горел внутри неоновый свет, сказал по-русски:

— Как осенний день на Невском. А, господин Самсонов? Похоже?

— Кисель,— отозвался Самсонов, завозившись за спиной.— Гамбургские прелести. Дождя нам не хватало еще здесь. Не могу, знаешь ли, с некоторых пор относиться к чертовой мокряди с равнодушием утки. Опасаюсь закряхтеть от радикулита.

— Простите, пожалуйста, за интермедию на русском языке,— сказал Никитин, обращаясь к госпоже Герберт, и пощелкал пальцами, подбирая фразу: — Мы говорим о том, что старые солдаты не любят осень. Потому что осенью начинают болеть раны. Грустная пора...— добавил он полушутливо.— Вы понимаете?

Было похоже, она поняла его, даже уловила намек, который он не вкладывал в свою фразу. Она взглянула пристально, дрогнула мягкими линиями бровей, четко темными по сравнению с белыми прядями волос, сказала пресекающимся от затяжки сигаретой голосом:

— Наверно, господин Никитин, мы все переживаем грустный возраст осени, когда ушло лето. Но после осени наступает зима. И тогда еще хуже. Зимой всем людям бывает так холодно... И даже у вас в России. Ведь возраст человека не имеет государственных границ.

— Вероятно,— усмехнулся Никитин.— Здесь никакие русские валенки не спасут.

«Дворники» скребущими радиусами ползали по стеклу, равномерно растирали мелкую, почти невидимую пыль нудного дождя; обдавая влажным шелестом, мимо запотелых окон справа и слева настигал, обгонял, проносился, гудел моторами соединенный металлический поток машин, нетерпеливо выбрасывая бензиновые клочья тумана на чернильный асфальт, устланный прилипшими листьями; и все так же скапливались, скользко блестели, толпились, бежали намокшие зонтики через переходы на перекрестках. Эти ноябрьские улицы Гамбурга, затянутые ненастными сумерками, с неурочным светом в магазинах и барах, вдруг показались Никитину совершенно промозглыми, тусклыми, обволакивающими машину знобкой сыростью — и захотелось скорей в отель, в теплый номер, уютный своей чистотой, тишиной, свежей постелью, переодеться, побриться, как обычно на новом месте, и сойти потом в ресторан, посидеть за чашечкой горячего, душистого кофе и тут обстоятельно расспросить фрау Герберт о дальнейшей программе, связанной с их приездом. Но при выговоренном ею слове «Россия», как это часто бывало за границей, он вообразил где-то позади, в скромном блеске московских фонарей вечерние переулки Арбата, оставленное им позади неизмеримое пространство, отделившее его на некий срок от забот, обязанностей, ежедневной работы за столом, к которому вернется, уже мучимый угрызением совести, уже невыносимо соскучась по дому, по кабинету, по притягательному и страшному в ожидающей непорочной тайне приготовленному листу бумаги — и, вмиг представив сладкое удовольствие своего возвращения и пытаясь вновь настроиться на волну разговора, сказал, скрупулезно соблюдая грамматическое построение:

— Если говорить о моем поколении, фрау Герберт, то молодыми, неунывающими и особенно счастливыми мы были весной сорок пятого года. Война кончилась. Все начиналось. А нам было чуть больше двадцати. Вот это было прекрасно. Я почему-то об этом подумал, фрау Герберт.

— Мальчишка,— басовито подал голос Самсонов.— Мне уже в ту пору стукнуло двадцать четыре. Экое ты дите был. Интересуюсь: детские пеленочки не возил в передке орудия?

— Больше того, патриарх, пеленки сушили на орудийных стволах после каждого боя... Извините, фрау Герберт, мы опять обменялись со своим другом любезностями на русском языке. Любезностями солдатского толка.

Она помолчала, струей выпуская дым в ветровое стекло.

— Но... можно надеяться, вы и сейчас не унываете, господин Никитин,— осторожно проговорила фрау Герберт.— Вы, я думаю, счастливы, здоровы. У вас ровное, хорошее настроение...

Никитин не совсем точно поймал оттенок смысла последней фразы и пощелкал пальцами, попросил помощи у Самсонова:

— Платон, будь добр, последнюю фразу переведи на язык родных осин. У меня всегда хорошее... и какое настроение?

— Ровное настроение, счастливый господин Никитин,— уточняя, перевел Самсонов и испустил носом протяжный звук: — М-м... Добавлю: производишь впечатление легкомысленного человека, лучезарная звезда Востока. Учти на будущее. Если от желчи болтаю пошлости я — мне начхать, тебе не позволено. Неси на себе печать счастливой солидности, классик. Так-то!

— Благодарю, ясно. Теперь переведи-ка мой ответ, я могу напутать сложный оборот, черт его дери,— сказал полусерьезно Никитин.— Простите за грубость, госпожа Герберт. Но кажется мне, что в моем возрасте ежесекундно и непробиваемо счастливыми могут быть лишь самодовольные дураки. Ровное же настроение спасает от многого. В том числе и от самого себя. Правда, не всегда удается.

— Я не хотела, господин Никитин...

Она обвела его лицо удивленно расширенной синевой глаз и, не закончив фразу, поспешно заговорила о другом:

— Господа, мы скоро подъезжаем. Вы будете жить в старинном и уютном отеле «Регина», который вам должен понравиться. Это за углом, господа.

Продолжение следует.



Михаил Иванович Хаджинов.

Фото Ю. Дьячкова.

Марк ПОПОВСКИЙ

Его учитель академик Николай Вавилов говорил: жизнь коротка — надо спешить. Творческий век ученого — шестьдесят лет. После шестидесяти в науке делать нечего — на пенсию пойдем. Такой расчет может показаться слишком строгим, но кто осудит за него Николая Ивановича, прожившего всего пятьдесят пять лет?

Хаджинова я встретил впервые, когда ему исполнилось шестьдесят. Это он мне и рассказал о Вавилове, о нечеловеческом темпе жизни своего учителя. О себе же в 1959 году кандидат биологических наук из Краснодара Михаил Хаджинов сказал только, что он надеется пяток лет еще послужить селекционной науке, потому что есть у него в заделе интересные кукурузные гибриды и надо бы их довести до поля.

Прошло с тех пор не пять, а пятнадцать. В нынешнем году у Михаила Ивановича Хаджинова платиновый юбилей — 75 лет. Я снова в Краснодарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства. Из достоверных источников узнаю, что те гибриды, о которых беспокоился ученый, давно вышли на миллионы гектаров и по подсчетам только за последнее десятилетие принесли стране 50 миллионов рублей прямого дохода. Однако, принимая меня в своем кабинете, академик Хаджинов, как пятнадцать лет назад, начинает разговор о том, что на подходе у него новые интересные формы кукурузы, но (вот досада!) как ни торопит он себя и сотрудников, как ни понукает селекционный процесс, раньше 1980 года гибриды его на поля выйти не смогут. Так что еще лет пять — шесть уйти ему на пенсию не удастся, надо своими глазами их повидать и своими руками передать в производство.

Такова доля людей этой профессии: весь век торопиться и всегда с грустью замечать, что времени не хватает. Мысль о завтра незримо присутствует в самой сути селекционного дела. Даже при большой удаче на выведение сорта (гибрида) уходит не менее семи лет, потом три года на государственное сортоиспытание и столько же на внедрение в практику. Итого: тринадцать лет на сорт. Два таких периода — и половина жизни селекционера долой. Михаил Иванович Хаджинов — автор более полутора десятков высокоурожайных гибридов — при таком вот летосчислении три селекционных века прожил. Но мало этого, до обидного мало. Ведь завтра-то всегда впереди...

Из всех встреч с этим ученым мне всего памятнее самая давняя. Сухой, жаркий сентябрь на окраине Краснодара. Первые опавшие листья под ногами. Я иду по большому двору института — ищу заведующего отделом селекции кукурузы. С яркого солнца вхожу в темноватый сарай, где рабочие взвешивают собранные с экспериментальных делянок кукурузные початки. Приглядевшись, различаю, что рядом с весами как-то странно скрючился на низкой, неудобной скамеечке небольшого роста человек. На коленях у него полевой журнал для записей, в руках карандаш. Рабочие берут из кучи очередной куль и опрокидывают его в ящик на весах: грохочет литое золото початков. И в ту же секунду человек вскакивает со своей скамеечки. Журнал падает на пол, очки сползают на самый кончик носа. Видно по всему, что ему очень не терпится заглянуть на весы: сколько потянул очередной образец? Передо мной был Хаджинов.

Неужели нельзя поручить эту немудреную работу кому-нибудь из сотрудников? Я не успел задать свой резонный вопрос, потому что очередная порция початков запрыгала на дне ящика, и шестидесятилетний ученый снова, как мальчишка, вскочил подбирать рассыпавшиеся зерна.

Когда рабочие вышли из сарая передохнуть, Михаил Иванович, смущенно улыбаясь, будто его застали за чем-то неблаговидным, признался:

— Взвешивать урожай — мое любимое занятие. Не хочется уступать другому такое удовольствие. Ведь тут на весах практический смысл всего, чем занимаешься целый год.

Мы разговорились, и селекционер пояснил свою мысль:

— Нам, исследователям, практические итоги особенно необходимы... Они нужны для нашего душевного равновесия. За свою жизнь я столько «съел» общественного труда, что просто стыдно не вернуть сторицей.

Хаджинов не слишком изменился с той поры: та же смуглота, которой наградили его греко-татарские предки, те же резкие, нетерпеливые жесты и удивительно добрые, бесхит-

ЗАВТРА ВСЕГ

ростные глаза за стеклами толстых очков. Да и характер все тот же — деятельный, шумный, вспыльчивый и отходчивый. Скромный кандидат наук превратился за эти годы в доктора, академика ВАСХНИЛ, заслуженного деятеля науки, Героя Социалистического Труда и лауреата Ленинской премии. Но каждое свое утро академик, как и в давние годы, начинает с наряда, самолично определяет, на какие поля пойдут сегодня рабочие, что будут делать сотрудники, достаточно ли инвентаря и машин. Не раз уже говорили Хаджинову, что неразумно научному командиру такого масштаба заниматься хозяйственными мелочами,— не слушает. Говорит, что в селекции мелочей нет. Будущее гибридов зависит не только от познаний селекционера в генетике, но и от того, как проложат пахари первую борозду на опытном участке. А когда приходит пора цветения кукурузы, академик и вовсе не способен усидеть в кабинете. Что же касается научных идей, то для своего рождения они, по мнению Михаила Ивановича, вовсе не нуждаются в кабинетах с полированными, дубовыми панелями.

Про кабинеты с панелями — это Хаджинов больше по природной своей запальчивости говорит. На самом деле новый институтский корпус из стекла и бетона современнейшей архитектуры очень ему по душе. Я еще помню те две тесные комнатушки, в которых селекционер почти в одиночку вел свой поиск в 50-х годах. Теперь у каждого из 16 научных сотрудников академика свой хорошо оснащенный рабочий кабинет. И работа там кипит нешуточная.

Современной науке многое, очень многое необходимо. Нужны и просторные помещения, и аппаратура новейшая, и сотрудники высокой квалификации. Во время первой нашей встречи Михаил Иванович шутя заметил, что только господь бог, создавший мир единожды, мог ограничиться небольшим объемом работы, в селекции же успех прямо пропорционален масштабу эксперимента и повторяемости опытов. Мне тогда казалось, что слова «масштаб» и «объем» имеют отношение только к размеру селекционных полей и количеству опытных участков. Так оно пятнадцать лет назад, возможно, и было. Но в нынешний приезд открылся совсем иной критерий научных масштабов. В лаборатории по оценке качества белка (лаборатория эта любимое детище ученого) показали мне комнату, в которой не менее как на десятки тысяч рублей отечественной и заграничной аппаратуры — всевозможные анализаторы растительного белка и аминокислот. Без таких аппаратов невозможно сегодня серьезно улучшить пищевые качества кукурузы. Сорок тысяч точнейших анализов на белок в год— вот продуктивность краснодарских биохимиков-аналитиков! Кстати сказать, в Международном институте по улучшению кукурузы и пшеницы (неподалеку от Мехико) — лаборатория такого же профиля производит анализов вдвое меньше.

Или, например, ЭВМ — электронно-вычислительные машины. Кто бы из селекционеров недавнего прошлого мог подумать, что поиски высокоурожайного корма для свиней потребуют электроники и математики? Но вот простейшая задачка. Имея в опыте 11 самоопыленных линий кукурузы, можно получить от их скрещивания 990 гибридов. Гибриды — главная, наиболее выгодная форма, в которой колхозы и совхозы сеют сегодня кукурузу на зерно и на силос. Так вот, чтобы дознаться, какие именно гибриды из этой тысячи чего-нибудь стоят в хозяйственном отношении, ученому надо потратить годы труда. ЭВМ же заранее подсказывает, что в хозяйственном отношении ценны из 990 только 25 гибридов. Посеяли, проверили и убедились: из двадцати пяти «математически вычисленных» двадцать один кукурузный гибрид действительно хорош. Объем работы исследователей сократился в с о р о к раз! Такова селекционная наука 70-х годов XX века.

В Краснодаре — столице гибридной кукурузы решается научно-хозяйственная задача первостепенной важности. Цель — дать колхозам и совхозам кукурузные корма самые полноценные, самые урожайные и притом наиболее доступные по цене и затратам труда. Метод — селекция. А за селекцией — вся мощь современной генетики. Иногда забывают слова академика Н. И. Вавилова, что селекция пока еще и искусство, и ремесло, и наука. Триединство это сохраняется и поныне. Многим даже весьма известным селекционерам вполне хватало в их деле первых двух элементов. Но ученик Вавилова Михаил Хаджинов всегда тяготел к тому, о чем мечтал и его учитель,— к тому, чтобы сделать селекцию прежде всего наукой. Даже в неблагоприятные для генетики времена оставался он ей верен.

Случались в жизни ученого периоды непризнания, одиночества. В середине 60-х годов пришлось ему заново обучать научной селекции своих молодых — недавно из института — помощников. Один из них, Константин Иванович Зима, ныне сам заведующий лабораторией, вспоминает, как после обучения сначала в Краснодаре, а после в Ленинграде у известного генетика Лобашева Михаил Иванович спросил его: «Ну, как, поверили в существование генов?» И десяти лет не прошло с тех пор, а сегодня даже в шутку никто тут такого вопроса не задает. Американский селекционер Лин Александер из Иллинойсского университета, побывав у Хаджинова, записал: «...краснодарские селекционеры работают на высоком генетическом уровне». Такую же оценку получили хаджиновские ученики и сотрудники К. И. Зима и В. Г. Рядчиков, когда в декабре 1972 года в Мехико на научной конференции по белку прочитали свои доклады перед аудиторией, представляющей сорок кукурузосеющих стран. Признал это и международно известный биохимик американец Эдвин Мертц, написавший краснодарцам: «Ваша страна, несомненно, достигла значительного прогресса в использовании высоколизиновой кукурузы как источника высококачественного белка для корма животных». Мертц сообщает, что сводка работ кубанских селекционеров-кукурузников будет скоро опубликована в Соединенных Штатах.

Владея наукой о передаче наследственных признаков, можно надеяться на многое. Взять, например, початок. Сидит он чаще всего среди кукурузных листьев один. А нельзя ли получить растения с двумя-тремя початками? Что говорит об этом наука? Гены многопочатковости были, оказывается, присущи древней кукурузе. Но человек для своих хозяйственных целей длительным отбором получил нынешнюю форму с одним, но крупным початком. Вернуть гены многопочатковости древней культуре нелегко, но в Краснодаре сотрудники Хаджинова создают и изучают линии многопочатковой кукурузы. Ученый надеется, что их удастся довести до уровня хозяйственно ценных гибридов.

Селекция — прежде всего наблюдательность. И люди наблюдательные еще лет 20 назад заметили, что у отдельных растений средняя жилка кукурузного листа имеет не зеленый, а коричневый цвет. Генетики за необычным цветом недавно обнаружили «работу» нескольких генов, которые изменили растение не только внешне, но и внутренне. В листе данной формы на двадцать процентов меньше лигнина, сухое вещество такого листа лучше переваривается, лучше усваивается в желудке жвачных животных. А коли так, надо полезный ген применить, использовать. Изо дня в день, подсматривая тайное тайных своей науки, преобразовывают хаджиновцы кукурузу на свой лад, а точнее, на тот лад, которого ждут на животноводческих фермах.

Сильна современная наука, точны и тонки все эти ЭВМ и белковые анализаторы. И все-таки конечный итог поиска — открытие, как стебель из зерна растет из личности ученого, из того, что А. Флеминг называл умом и душой исследователя. Если бы меня спросили, какая именно черта хаджиновского характера определила главные победы краснодарцев, я без запинки ответил бы: объективность. Друзья иногда даже говорят о н е ч е л о в е ч е с к о й объективности Михаила Ивановича.

Здешние старожилы любят рассказывать о том, как в 50-х годах Хаджинов изгонял с полей края кукурузную популяцию Краснодарская 1/49, которую создал собственными руками. Популяцию, дававшую неплохие урожаи зерна и удобную в семеноводстве, в колхозах любили. Она занимала несколько миллионов гектаров и вполне удовлетворяла вкусам кубанских, и не только кубанских колхозников.

Но наука, а с нею вместе и Хаджинов не стояли на месте. Увлеченный еще более урожайными и действительно более прогрессивными двойными межлинейными гибридами (опять-таки его собственной селекции), Михаил Иванович принялся вдруг на всех совещаниях селекционеров требовать, чтобы популяцию его изгнали, перестали районировать. А в 1964 году, после того, когда, наконец, восторжествовал повсеместно двойной межлинейный гибрид ВИР-42, тот самый, за который краснодарский селекционер так горячо ратовал, когда занял гибрид этот всю Молдавию, большие площади на юге Украины и в Краснодарском крае, выпустил Хаджинов на свет двойной межлинейный гибрид краснодарский-309 для того, чтобы как говорят спортсмены, «подрезать» сорок второго. «Зачем? — изумились коллеги — ведь ВИР-42 вполне всех удовлетворяет, в колхозах к нему привыкли...» Но Хаджинов лучше других знал предельные возможности своего сорок второго. Новичок триста девятый мог в тех же условиях дать почти на 6 центнеров зерна больше. И новичок пошел. Ему были рады и в Ставрополье, и в Крыму, и в Николаевской области Украины. А следом за Краснодарским-309 дослал Михаил Иванович еще и другой свой гибрид — Краснодарский-436, а потом еще и засухоустойчивый Краснодарский-440. Эти двое последних принесли с собой еще 3—6 лишних центнеров зерна на гектаре и почти совсем «добили» ВИР-42, вытеснив его из Донецкой, Ростовской, Одесской областей, из Молдавии и Ставрополья.

В конце 60-х годов в мировой селекционной науке возник поворот к простым гибридам кукурузы. В Болгарии, Венгрии, Югославии, США нашли, что товарное зерно выгоднее получать, если скрещивать две самоопыленные линии. В Советском Союзе поначалу простых гибридов не было. Некоторых администраторов это наводило на мысль о нашем «отставании». Начали даже разрабатывать планы закупки семян простых гибридов за границей. Возможно, такие закупки и состоялись, если бы не Хаджинов. За поразительно короткий срок он вывел простой гибрид — ПГ — и передал его на проверку. Краснодарский ПГ-303 показал такие достоинства, что Комиссия по сортоиспытанию, нарушив свои весьма строгие правила, рекомендовала его колхозам и совхозам уже после в т о р о г о года испытаний. Еще бы! Новый краснодарец дал на 12 центнеров больше зерна с гектара, чем ВИР-42, и на 6—8 центнеров больше самых лучших своих земляков Красно-

ДА ВПЕРЕДИ

дарского-436 и Краснодарского-440. Событие исключительное! Недаром первый наш ПГ занял в 1974 году треть миллиона гектаров, а в 1975-м, как говорят, удвоит посевные площади. Те, кто недавно еще охал по поводу нашего «отставания», теперь подняли крик, что триста третий надо распространить по всей стране на десять, а то и пятнадцать миллионов гектаров. Но Михаил Иванович верен себе: он уже предупредил не в меру горячих своих поклонников, что его первенец даст хорошую прибавку зерна только в благоприятных условиях, разгонять его на многие миллионы гектаров экономически неразумно.

«Нечеловеческая объективность» Хаджинова, когда приглядываешься к ней внимательно, оказывается человечностью высшего полета. Ученый желает дать людям, стране, хозяйству как можно более ценный продукт. Честолюбие, поиск материальных выгод, стремление утвердить свой авторский авторитет, черты, которые нередко еще определяют линию поведения некоторых создателей новых сортов, Хаджинову чужды. Как человек, он, естественно, горд, что его гибриды вторглись на территорию Днепропетровской области, окружили Одессу, заполнили Краснодарский край и Молдавию, потеснив кукурузу, выведенную другими селекционерами этих районов. Но если потребует польза дела, нужды крестьян-кукурузоводов или хозяйственная необходимость, он без всякой жалости станет выкорчевывать свое, пренебрегая личными интересами.

И если говорить откровенно, то мне кажется, что именно сейчас, в дни своего семидесятипятилетия, краснодарский селекционер более всего настроен произвести такой вот удар... по себе. Началось это все лет десять назад, когда генетики заметили... Впрочем, по порядку.

Те, кто улучшает кукурузу, и те, кто кормит ею скот, знают: всем хороша эта кукуруза, и урожайна и углеводами богата, но есть у нее важный недостаток — мало в ней белка. Да и тот, главный, что есть в кукурузном зерне — зеин — плоховат, скверно усваивается животными. Что поделаешь, говорили селекционеры и зоотехники, такова природа растения. Не дано кукурузе быть кормом с высоким количеством и качеством белка. Очень жаль. А коли не дано, то всякий животновод, желая дать коровам и свиньям полноценное питание, должен был всегда думать о белковых добавках, о горохе, жмыхе, отрубях. Без хорошего белка привесы становятся ничтожными, животное хиреет. Но белковые добавки дороги и дефицитны. Вот тут-то он и завязан, главный узел животноводства. Как же его развязать, этот узел? Американский биохимик Нельсон в уже упомянутом выше письме так и писал краснодарцам: «Главный белковый дополнитель: соевая мука становится сейчас такой дорогой в США, что фермеры начинают усиленно интересоваться лизиновой кукурузой».

Стоп! Вот оно и произнесено, разрешительное слово. Высоколизиновая кукуруза — подлинное дитя века научно-технической революции. Обнаружить ее удалось после того, как возникла целая семья автоматических сверхточных анализаторов аминокислот. Исследуя с помощью этих аппаратов тысячи образцов кукурузного зерна, биохимики заприметили некий образец с резким отклонением от нормы: белка в нем было больше, чем обычно, а главное, белок другой — хорошо усвояемый. Мутация! Скачкообразная смена наследственных качеств! И среди прочих перемен в заветном образце оказалась смещенной пропорция различных аминокислот. Нежелательный зеин оттеснен, а на его месте — увеличенная доза других белков, содержащих повышенное количество чрезвычайно важной аминокислоты — лизина. Незаменимой зовут ее физиологи и биохимик. И она действительно незаменима для роста и развития животных.

Итак, у кукурузы открыт новый ген. Внутренне он проявил себя новым подбором аминокислот, а внешне объявил о себе восковым, тусклым видом зерна. По-английски «тусклый» — опейк, новый ген получил международную известность под именем опейк-2. Узнав о находке, Хаджинов буквально вспыхнул. Генетик, он сразу сообразил, какие блестящие возможности принесет с собой на животноводческие фермы этот «тусклый» ген. «Создать формы с 16—18 процентами белка, с 0,6—0,65 процентами лизина (в муке) — это крайне необходимо,— писал Михаил Иванович своему ученику К. И. Зиме.— Надо показать, что кукуруза может быть ЕДИНСТВЕННЫМ кормом без всяких других источников белка и аминокислот. Это замечательно! Беспредельные возможности открываются перед этим растением!»

Не откладывая ни на день, Хаджинов принялся искать образцы опейк среди своих генетических коллекций. Нашел несколько зерен с тусклой окраской (дело было осенью 1966 года) и тут же, не дожидаясь весны, принялся выращивать эту кукурузу в теплице. Теперь о лизиновой кукурузе говорят — чудо-растение, а тогда первые выращенные в Краснодаре кустики были жалким подобием сейчас уже районированных краснодарских гибридов. Зерна давали эти кандидаты в чудо меньше половины стандартного урожая. Над опейком предстояла работа, и немалая. На то, чтобы ген опейк совместить с высокой урожайностью, чтобы сделать новую кукурузу неполегающей, не поражаемой болезнями и вообще поднять ее до уровня краснодарских гибридов, ушло семь лет.

Может показаться, что срок этот слишком велик. Но на самом деле для создания новой кукурузы понадобился бы срок значительно более долгий, лет, может быть, пятнадцать. Хаджинов сократил его вдвое. Ежегодно сотрудники отдела селекции кукурузы в теплицах и на теплом кавказском берегу выращивали по два-три поколения опейк. Многие тысячи анализов на белок проделал за эти годы в своей лаборатории биохимик Виктор Рядчиков. Почти круглый год вели бесконечные скрещивания и отборы молодые селекционеры Константин Зима и Александр Нормов.

Как назло, именно в эти решающие годы заведующего Отделом селекции замучили болезни. Несколько раз приходилось ему ложиться в больницу, но и оттуда по телефону, в письмах давал он сотрудникам указания. Я видел эти бережно хранимые сотрудниками записки 1968—1971 годов, испещренные номерами испытуемых образцов, датами посева и скрещивания, всеми этими во-первых, во-вторых, в-третьих. За каждым указанием и советом Хаджинова видится забота о лизиновой и забота о коллективе. Во многих письмах напоминания: «Будьте дружны между собой...», «Будьте объективны к себе и к работе Отдела...»

В те же годы ученый произвел еще одну решающую проверку своей любимицы. Контроля на делянках и в биохимической лаборатории ему показалось недостаточно, и он, выступив на краевой конференции перед председателями колхозов и директорами совхозов, предложил самим земледельцам сказать о лизиновой последнее слово. Был задуман и осуществлен массовый эксперимент. В двадцати хозяйствах зоотехники и свинарки по строго разработанным специалистами схемам кормили своих питомцев лизиновой и обычной кукурузой. Этот поистине народный опыт, проведенный под наблюдением краснодарских ученых-зоотехников, успокоил в конце концов даже сверхтребовательного Хаджинова. Лизиновая кукуруза показала свои великолепные качества: она резко экономила в хозяйствах белковые корма, в полтора-два раза повышала привесы поросят. Это оказался в полном смысле слова полноценный белковый корм. Весной нынешнего, 1974 года четыре высоколизиновых кукурузных гибрида селекции Хаджинова, Зимы и Нормова заняли в крае около 30 000 гектаров. Предвижу, что в истории древней и обновленной культуры факт этот будет иметь два серьезных последствия. Животноводы страны получат кукурузу с полноценным белком, ибо гибриды с пометкой ВЛ — высоколизиновые — не уступают по урожайности лучшим гибридам обычного типа.

А Хаджинов?.. Хаджинов, наверное, начнет теперь кампанию за изгнание с полей своих недавних любимцев — кукурузных гибридов слабобелкового типа. И можете быть уверены: он не пожалеет ни сил, ни темперамента на то, чтобы вытеснить самые дорогие свои, самые любимые гибриды, те, на которые потратил годы жизни. Ибо кукуруза завтрашнего дня непременно должна быть лучше сегодняшней Именно в этом видит смысл своего Сегодня селекционер-генетик Михаил Хаджинов.

ХРАМОВЫ

Начало см. на стр. 8.

хотел учиться в школе после восьмого класса. У Жени была на то в конце концов веская причина: его подвели глаза. Зрение у него слабое с детства. Врачи не разрешали ему даже заниматься спортом, как он этого ни добивался. Придет, бывало, перед соревнованиями на комиссию, а ему: «Опять пожаловал? Иди домой, делай утреннюю зарядку!» К пятнадцати годам Женя перерос отца, был выше всех в классе, сидел на последней парте, а очки стеснялся носить. И переспрашивать учителя, который писал на доске уравнения, тоже стеснялся. В результате кое-как до восьмого класса дотянул. Очки надел после школы и так быстро к ним привык, что как-то утром оплеснул водой, когда умывался.

У Жени завершилось все благополучно: окончил вечернюю среднюю школу, уже работая на заводе. Теперь у него третий разряд, прилично зарабатывает. Я видела Женю в новом сборочном цехе, прекрасном, как дворец. Здесь многочисленные детали, узлы и агрегаты, завершив длинный свой путь по заводу, воссоединяются в едином организме быстролетной птицы. В крылья «Як-40», изрисованные сложным узором «моих» заклепок из «моего» цеха нормалей, электрики, и в их числе Храмов-сын, вмонтируют кровеносную систему — электрические схемы. Я спросила у Евгения, нравится ли ему работа. Ответил: «Очень. Хочу готовиться к сдаче на четвертый разряд».

А вот что получится с Витькой-непоседой? Тут везде всеобщее среднее, а он, пожалуйста,— «не хочу». Все женщины в доме Храмовых, включая Олю, страшно переживали. Мужчины внешне хранили спокойствие.

— Что же ты намерен делать? — спросил Михаил Федорович сына.

— Работать.

— А может быть, пойдешь в техникум?

— С тройками не попаду. За полгода на заводе я кое-чему научусь, разряд получу. Вернусь из армии — специальность будет.

В таком рассуждении был резон. Но отец тут же поставил условие:

— Хорошо. Иди на завод. Но этой же осенью поступай в вечернюю школу.

Школа — вон она, наискосок, через улицу.

С того памятного разговора прошел год. Виктор занимается в десятом классе. С завода он приходит, как правило, первым. У него, подростка, укороченный день. Вот и сейчас, наскоро переодевшись и умывшись, идет в столовую. Бабушка уже напекла любимых его оладий. Уплетает их он с вареньем, запивая молоком, и с таким аппетитом, что и я удержаться не могу.

За этим занятием и застает нас Михаил Федорович. Он сегодня тоже поторопился. Предстоит одно мероприятие. Я знаю какое. Дожевывая на ходу последнюю оладью, Виктор охорашивает перед зеркалом в прихожей свои кудри. Отец отворачивается, и я догадываюсь, почему. Не может он хладнокровно видеть эти самые кудри. Сколько было разговоров о них! Все бесполезно. Дико упрям, и в кого только? Взять бы да и чикнуть ножницами, когда спит. Но чикнуть легче всего. Труднее убедить.

— Ты куда?

— Да к ребятам.

— Погоди, не торопись. Сегодня другая программа. Пойдем все вместе на пристань.

— Пап, может быть, мне не надо?

Вот так всегда. Взяли его с Евдокией Васильевной в Сочи этим летом, чтоб не болтался в отпуске без них. И в театр с собой и на концерты. Взмолился: «Мне скучно с вами. Я уеду». Что это — барьер возраста или еще что?

— Надо, Витя, надо! Поливоды придут, Басовы, Князевы. Все наши. Фотографироваться будем. Для «Огонька».

К троллейбусу мы идем через тот самый сквер, что начинается у завода. Михаил Федорович, Евдокия Васильевна, Виктор. Вот уже и младший сын сравнялся ростом с отцом, замечаю я.

Под ногами шуршат золотые листья. Падают они откуда-то сверху, с осенней прозрачной высоты. И я снова удивляюсь: «Какими же большими стали деревья!»

На сборке «Як-40».



ДЕЛО О ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКАХ

Руфь ЗЕРНОВА

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. УШАКОВА.

Дома все было, как обычно — как теперь стало обычно. Мать привела Лодика из детского сада и кормила ужином — он ел неохотно, она его уговаривала. Но иногда она замолкала, глаза у нее пустели, она поднимала руку к затылку, и гримаса боли появлялась на ее лице. Этот жест появился у нее вскоре после похорон. Алла понимала, что это значит: мать снова и снова вместе с отцом спускалась по лестнице и каждый раз принимала на себя тяжелый удар в затылок — тот самый удар, который прекратил его жизнь. Жест этот повторялся у нее почти механически, а даже Лодя это заметил. Но он нашел средство: он прижимался головой к бабушкиному плечу и спрашивал ласково:

— Опять головка заболела?

И она возвращалась на его голос, и на некоторое время все проходило.

Надо было жить дальше. Надо было снести в комиссионный магазин отцовские вещи: два костюма, два пальто и плащ, все немодное, недорогое, дадут копейки,— но надо было, чтобы эти вещи ушли из шкафа. Рубашки, белье, обувь отдали уборщице из «Невских зорь», которая вымыла окна. И когда уйдут носильные вещи — какой материальный след останется от человека, который был в этом доме самым главным несколько десятков лет?

Мать сказала в один из первых дней:

— Ты переходи в нашу комнату. Расставляй все как-нибудь по-новому. Стол отцовский занимай. А я с Лодиком буду.

Алла сперва не соглашалась — родительская комната была больше, угловая, с двумя окнами. Но мать сказала:

— Тяжело мне тут!

Подняла руку к затылку, лицо ее исказилось, и Алла поняла, что спорить нельзя. Но, убирая, переставляя мебель, вешая на старые, еще отцом вбитые гвозди окантованные фотографии из своей комнаты — двухлетний Лодька в белом костюмчике с ведерком, бородатый Хемингуэй и лошадиная голова,— она думала, что все это полумеры, что надо менять квартиру...

Ящики отцовского стола были пусты, кроме одного. Во всех остальных прежде лежали их общие с мамой вещи, письма, фотографии, общесемейные документы. Она их унесла — переложила к себе. Но один ящик, отцовский, всегда запиравшийся на ключ, она не тронула. Там были ордена — Красной Звезды и «Знак Почета», медали, документы к ним и тетрадка, старая школьная тетрадка тридцатых годов с Вещим Олегом на обложке. Между ее страницами лежали справки с мест работы. Их было немного — одна довоенная и две послевоенные; отец всюду работал подолгу. Теперь тут же лежали его часы и запонки. Мать сказала Алле: это Лодику, когда вырастет.

Часы были карманные, серебряные, луковицей — ни у кого таких не было. В детстве Алла удивлялась: отчего отец не сменит часы, не носит такие, как у всех,— браслеты. Отец строго возражал: память. Память военных лет. Посмеиваясь, вспоминал: в сорок пятом году, в первые дни после Победы, ехал он на лошади в штаб, навстречу — казак, тоже конный. «Слушай, есть у тебя часы?» «Есть!» «Махнемся?» «Махнемся!» И махнулись. Казаку достались отцовские, наручные, фирмы «Мозер». А отцу — вот эти.

— Молодые были! И радость такая была в те дни сумасшедшая!

— Папа, а разве ты умеешь ездить на лошади?

— Умею — не умею... Если надо, человек все умеет, ты это запомни.

Когда Алле впервые пришлось сесть на лошадь, она здорово боялась. Но вспоминала: человек все умеет, когда надо. Ничего, научилась. Фотография этой лошади теперь висела у нее в комнате — Алик ее сделал в то первое лето. То есть тогда он только фотографировал, а напечатал потом, когда они уже были мужем и женой.

Отец ведь тоже не получил высшего образования — почему же он так настаивал, чтобы Алик поступал в институт? Наверное, именно поэтому.

Алла держала в руке тяжелые часы, и они согревались, словно оживая. Но не шли. Никто их не заводил с того самого дня... Они были тогда в кармане отцовского пиджака. Отец говорил: к этим часам жилетку надо, цепочку и брюхо. Ничего этого у него не было, однако часы носил.

В который уж раз Алла открывала крышку этих часов, тяжелую двойную крышку; смотрела на полированную поверхность и старалась ни о чем не думать. Ужас сколько стало вещей, о которых нельзя думать. О которых надо молчать... ради того, чтобы не пострадал невинный.

Отец — какой он был тогда? Молодой, веселый, счастливый... Скачет на лошади — или не скачет, едет трусцой; если бы срочное дело, наверное, на машине бы поехал... Едет по этой странной Германии, и казак навстречу, как из фильма или из Пушкина... «Махнемся не глядя?» «Махнемся...» Май, зеленый май, знакомство родителей, начало их любви... Все это на самом деле было, не только в книгах и в фильмах...

Отец говорил: память. Главное — это память. Человек из-за памяти и стал человеком.

Он говорил это, когда Алик стал пить, разрушать свою память. Он ведь хотел, чтобы все было хорошо, хотел, чтобы Алик одумался...

И все-таки: кто же это сделал?

IX

Когда Алла ушла, Кирилл отыскал Риту не сразу. На месте ее не было: клиентки, ожидавшие в красных креслах-раковинах, волновались: а где второй мастер?

И маникюрша Света, Ритина напарница, огрызалась:

— Вы что, думаете, мастер не человек? Выйти на минутку не может?

Рита стояла на площадке внутренней лестницы и курила, и, как всегда, вокруг нее было несколько мужчин. Сколько есть мужчин на этаже — все вокруг Риты.

Она бросила на Кирилла рассеянный взгляд сквозь дым и продолжала разговаривать с дамским мастером Юрой, который так и раздувался от Ритиного внимания.

— Эту седину надо уметь делать. Мне ее парикмахер из «Европейской» делает, по знакомству.

— Хм! У них в «Европейской» и материалы другие.

— Нет, Юрочка, не материалы. Ты, Юрочка, мастер молодой, ты, Юрочка, еще не знаешь: главное — это руки.

«Юрочка», «Юрочка»... Это она ему за Аллу, конечно.

Он усмехнулся и сказал:

— Клиентки уже скандал подняли, а у мастеров перекур?

— Подумаешь!— пробурчал Юра.

Рита отставила в сторону длинную руку с сигаретой и смотрела на кольцо с малахитовой розой, Кириллов подарок. Кирилл подошел, взял под локоток:

— Разрешите вас проводить на ваше рабочее место?

Ее плечо послушно поддалось, прижалось, а лицо было спокойное, как всегда. Это ему в ней нравилось — постоянное спокойствие лица, что бы с ней ни делалось. Она серьезно ухаживала за своим лицом. Она даже глаза не подводила — от этого морщины делаются, какнибудь и без теней для век она обойдется. Она говорила: «Самое главное — это сохранить лицо, я в одной книге прочла». Она сохраняла; оно светилось ровным светом холеной кожи, тугой, плотной, розовеющей там, где нужно. А все потому, что она не держала себя впроголодь и не позволяла себе переживать и расстраиваться.

В первое же утро она пожарила ему яичницу-глазунью, как он любил. Оказалось — умеет: желтые глазки под белой пленкой, соли как раз, кофе тоже сделала так, как нужно: ложка на чашку. И все с тем же спокойствием, обычностью, как будто век тут жила. Он ее похвалил, а она сказала без удивления:

— Ты что же, думал, что я в жены не гожусь? Из меня жена хорошая, я все умею делать. Современная женщина должна все уметь. Вот в выходной я тебе обед приготовлю.

Он посадил ее к себе на колени. Она спросила:

— Так как, хочешь, чтобы я к тебе переехала?

Продолжение. См. «Огонек» №№ 40—44.

Свой кукольный театр...
Знакомство с авиацией начинается с заводского детского сада.

И, так как он медлил с ответом, рассудительно сказала:

— Удобней, пожалуй, так было бы. И тебе спокойнее.

— Ишь ты! — Он засмеялся.— Обо мне заботишься!

— А как же? Заботясь о своем муже, женщина заботится о себе.

— Так я же тебе не муж?

— А это все равно,— сказала она и встала с его колен, чтобы подлить горячего кофе в его чашку. Налила и себе, села напротив и стала пить, тихонько глотая. Кирилл спросил:

— Ты сколько раз замужем была?

— Не так и много,— сказала она.— Два раза. Мне ведь уже двадцать пять. А ты почему не женатый до сих пор? По себе не находил?

— Пожалуй,— сказал он.

— А я по тебе?

— А ты как думаешь?

— Думаю, да.

— Может, ты и права.

Так оно и продолжалось. О переезде разговора больше не было. Он не звал, она спокойно ждала.

Когда он увел ее с лестничной площадки, она спросила:

— Это кто же была? Моя соперница?

— Да нет, какая соперница. Алла это, помнишь, я тебе говорил, геологиня, а муж — алкаш...

Рита сказала:

— Она сама неинтересная. Но некоторые мужики таких любят.

— Каких таких?

— Ну, вот таких. Нервных. Она, наверное, жутко нервная. По лицу видно. Да разве мужиков поймешь!

Разговор со следователем был непродолжительный; следователь, похоже, стеснялся, что его вызвал. Спросил, давно ли Кирилл знаком с Аллой и Костуричем; видел ли когда-нибудь Аллиного отца; слышал ли от Костурича угрозы по его адресу.

На этот вопрос Кирилл ответил:

— В трезвом виде не слышал никогда. В трезвом виде Алик... Костурич — очень мягкий человек.

— А в пьяном?

— Кто же может за себя отвечать в пьяном виде? Тем более что Костурич скорее всего уже болен алкоголизмом.

— Так, значит, в пьяном виде он угрожал Соколовскому?

— Да он всему свету угрожал в пьяном виде. И мне и жене своей. Перед пьяным все на свете виноваты.

— А какие именно он произносил угрозы — не помните?

— Да знаете, это даже разобрать было трудно. Я не прислушивался. Болтал спьяну что-то, всех поминал... Но таких уж совсем прямых угроз я не помню. Это ведь бред, товарищ следователь, понимаете, пьяный бред. Говорю я вам об этом просто потому, что вспомнилось.

— А вы часто видели его пьяным?

— Приходилось.

— Соколовская говорит, что вы даже иногда его домой отвозили.

— Было.

— А скажите, зачем вы ему рассказали про телефонные звонки? У вас была при этом какая-нибудь мысль?

Кирилл посмотрел на Всехсвятского. Круглое лицо, круглые очки. Не взрослое какое-то лицо, мягкое, хоть и в морщинах, и сосуды пополапись на скулах. Кирилл сказал:

— Я не понимаю вопроса.

— Ну, я хотел спросить: может, вы предполагали, что это Костурич звонил?

Кирилл подумал и покачал головой.

— Нет, мне это в голову не приходило. Да и Алла узнала бы голос, верно?

— Так зачем же вы ему об этом рассказали?

— Да просто сказал, к слову пришлось. Он стал мне про жену говорить, я и сказал: брось ты, ей сейчас и без тебя хватает. И рассказал.

— А больше вы никому не рассказывали? Точно?

— Никому, совершенно точно.

— Понятно,— сказал Всехсвятский.— А скажите, у вас с Соколовской какие отношения?

— Нормальные.

— Нормальные, значит, обыкновенные?

— Ну да, обыкновенные.

— Но, видимо, вы были друзьями, если она только вам одному рассказала об этих телефонных звонках?

— Видите,— сказал Кирилл, помолчав,— она мне доверяла, Алла. Особых друзей-мужчин у нее не было. Она еще не отошла, понимаете? Ну, а я действительно с Аликом... с Костуричем... возился. Ну, домой его отвозил иногда. Вот с тех пор, наверное, она и... мы стали ближе. Только это не то, что вы думаете. В общем, я... у нас были спокойные товарищеские отношения.

Всехсвятский кивнул.

— А теперь вы часто встречаетесь?

— Теперь? Нет. Последнее время не вижу ее. Она мне не звонит, я ей не звоню. Она в переживаниях... И потом, как раз это все случилось, когда мы с ней в кино были. Я думаю, это на нее психологически подействовало.

— Она ведь тогда, кажется, не досидела до конца?

— Да, она ушла раньше. Я, между прочим, так до сих пор в толк не возьму: отчего она вдруг затревожилась, как раз в это время... Удивительное все-таки дело. Не захочешь — поверишь в телепатию.

— Скажите...

Кириллу показалось, что Всехсвятский смутился и ищет слов. Он ободряюще подался вперед — давайте, не стесняйтесь, спрашивайте. Этот следователь удивительно непохож был на следователя, Алла верно заметила.

— Вот вы с Соколовской встречались часто, в кино ходили, она вас посещала... У вас нет девушки?

Кирилл улыбнулся:

— Есть!

— Вы их не знакомили?

— Нет. Не пришлось познакомить. Но они, так сказать, в разных плоскостях. Очень разные.

Кирилл подумал, что Всехсвятский охотно бы расспросил подробнее, но стесняется, тем более что к делу это уж никакого отношения не имеет. Хочет знать, как сейчас бывает у молодежи в смысле сексуальной революции. Кирилл чуть не усмехнулся, когда об этом подумал.

Всехсвятский спросил о другом — не решился, видно, развивать скользкую тему.

— Скажите, а как вы познакомились с ними? С Костуричем, с Соколовской?

— То есть что между нами было общего? Понимаю вас. Я часовщик, Соколовская — геолог, разные вроде люди, разная среда... Ну, во-первых, у нас общие приятели есть, художники. Молодые художники, не очень известные еще, но, по-моему, способные ребята. Прикладники. Камушки обрабатывают. И я этим иногда занимаюсь. В плане хобби.

— Дорогие камушки? — спросил Всехсвятский.

— Не очень. Ну, янтарь, бывает, привезут из Прибалтики. Или яшма. Вообще-то хотелось бы, конечно, с настоящими камушками поупражняться, пока они есть. А то даже малахита не стало.

— А откуда у вас это умение — с камушками?

— Настоящего умения, к сожалению, нет. Присматривался когда-то. У меня дядя был ювелир, из последних могикан. Он не хотел меня приучать к делу, я сам приглядывался. Он хотел, чтобы я по какой-нибудь крупной специальности пошел. Я и пошел — поступил в строительный. Не мое оказалось дело, я довольно быстро разобрался.

— Я тоже сперва поступил на филологический,— сказал Всехсвятский.

— Ну, так вы знаете, каково это — сидеть на лекциях и знать, что только теряешь время. Я и не стал терять. Ушел в ПТУ. Не для меня оказалась крупная специальность. Ну, если бы был талант — пошел бы в художники. Но без таланта — лучше так, как я. Не буду врать, некоторые поделки делаю дома, на жизнь хватает, не жалуюсь.

— Вы могли поступить в объединение. Ну, скажем, в «Русский самоцвет».

— Мог бы, конечно. Меня даже звали туда. Но я не захотел. Не стоит превращать хобби в службу.

— А свою основную работу вы любите? — смущенно спросил Всехсвятский.

Жуков пожал плечами:

— А зачем ее любить? Она в этом не нуждается. Работа как работа. Дает возможность жить, дает возможность заниматься другим делом, более для меня интересным. Пойди я, как вы советуете, в «Русский самоцвет», я бы делал там более интересное дело. Но не всегда то, которое хочу делать. У себя дома я сам себе хозяин. Хочу — работаю, не хочу — не работаю. Иногда делаю интересные вещички из материала заказчика, по рекомендации. В прошлом году в Прибалтику ездил, там кое-чему научился. А вообще у нас сейчас ювелиры, как мамонты. Найти невозможно. Пора уже устраивать заповедники — пусть там они шлифуют, гранят, филируют, взвешивают караты; пусть это будет художественный промысел, охраняемый государством, тогда, может, и я пойду в ювелиры.

— Понятно,— сказал Всехсвятский.

Он вел этот разговор, ничего не записывая, протокол допроса он давно уже закончил. В дверь постучали, появился милиционер. Всехсвятский кивнул ему:

— Привели, товарищ Игнатенко? Пусть подождет минутку, мы сейчас кончаем. Я вызову.

— Подпишите.— Он передал Кириллу два листка бумаги, на которых уместились его показания.

Кирилл перечитал их внимательно: познакомился с Соколовской у геологов Иванчихиных два года назад; тогда же там же познакомился с Костуричем; с родителями Соколовской не был знаком; дома у нее не бывал; о телефонных звонках узнал от Соколовской; рассказал о них только Костуричу; в день убийства Соколовского Н. Е. был в кино с Соколовской А. Н.; Соколовская ушла после первой серии, он остался досматривать; из кино вернулся домой...

Тут он поднял глаза и встретился взглядом с Всехсвятским.

— Я еще позвонил из кино по автомату и пригласил к себе мою знакомую,— сказал он.

— Хорошо, внесем это в протокол.

...О смерти Соколовского Н. Е. узнал от Натальи Иванчихиной. Соколовскую А. Н. с тех пор видел только на выносе; не имеет представления, кто мог убить Соколовского; слышал, как пьяный Костурич грозил расправиться с тестем...

— Я этого не говорил,— сказал Кирилл, откладывая протокол.

— Читайте, читайте,— сказал Всехсвятский добродушно.

— Нет, позвольте. Я ведь не так говорил, как вы записали. Я говорил...

— Вы до точки дочитали или до запятой?

— До...— Жуков взял в руки отложенный листок, посмотрел.— До запятой.

— Ну, так дочитайте до точки.

...грозил расправиться с тестем, но в состоянии алкогольного опьянения Костурич агрессивен и угрожает всему свету.

— Вы считаете, что ваша мысль выражена неточно?

— Да нет, просто я это говорил не для протокола.

— Что ж, у вас одни мысли для протокола, а другие для себя?

— Нет, просто вы так повернули, что... тень падает на Костурича, а я этого не хотел.

— Но это имело место в действительности?

— Ну, я, во всяком случае, этого не выдумал.

— Ну, значит, подписывайте.

Кирилл вздохнул и подписал оба листка.

Потом он поднял глаза и спросил:

— Вы собираетесь меня как свидетеля вызывать?

— Не знаю еще,— сказал Всехсвятский.— А что, вы имеете что-нибудь против?

— Не то что против. Но я оформился в туристскую поездку. Если все будет нормально — через неделю уеду. В капстрану.

— Надолго?

— Девять дней.

Всехсвятский на минуту задумался, потом сказал:

— Я вам сообщу. Думаю, что все будет в порядке, но на всякий случай... В общем, я дам вам знать.



Когда он вышел из кабинета, он увидел в полумгле коридора давешнего милиционера и Алика. Они сидели рядом в унылом молчании. Алик его не заметил: он сидел нахохлившись и смотрел себе под ноги; казалось, его стриженной под ноль голове холодно с непривычки, и он потому втягивает ее в плечи. Кирилл подумал, что не узнал бы его, если бы не был готов к этой встрече. Укатали сивку.

Он не прошел мимо — он пошел в другую сторону. Спустился по другой лестнице. Он шел по длинному коридору и думал, что надо позвонить Рите, хоть завтра и рабочий день. Она обрадуется. Он представил ее себе и усмехнулся.

О том, что только что было в кабинете Всехсвятского, он думать не хотел. Он умел отключать лишнее и ценил это в себе. Для отключения Рита тоже была хороша: заботлива, немногословна, послушна.

Об Алле он не вспомнил — она тоже была отключена.

X

Всехсвятский просмотрел протоколы всех сегодняшних допросов, потом записал на библиотечной карточке:

1. Яковлев. К. не знает.
2. Надя Углова.
   а) К. знает.
   б) Знает его знакомых.
   в) Я. не знает.
   г) Говорит про тел. зв.
3. Баскаков. Не знает Я., не знает про тел. зв.

Он повертел в руках карточку, потом позвонил, чтобы привели Костурича, и стал наводить порядок у себя на столе.

Надя Углова знала про Костурича все и обо всем судила весьма неожиданно. По ее мнению, в незадачливой судьбе Костурича виновата только одна женщина: его собственная жена. До женитьбы все было, как надо. А тут человек попал в чуждое окружение, не смог приладиться и в результате спился.

— Семья Соколовских — такая, знаете, буржуазно-порядочная семья. А он не может ужиться с такими людьми. Он, правда, свою мать не очень ценит — может быть, он и прав, но не в этом дело! — но все-таки, по-моему, ему ближе даже такой уклад, как у его матери... Он особенная натура, Алик, его надо понимать, а кто мог его понять у Соколовских? Эта Алла! Ей только одно и нужно было — чтобы он деньги зарабатывал! Она его эксплуатировала!

Всехсвятский слушал Углову с интересом.

— Но ведь он попал в заключение за эту историю с ларьком еще до своей женитьбы?

— Вы что, думаете, он тогда был огорчен? Плохо вы понимаете нынешнюю молодежь! Он считал, что он школу жизни проходит. Он... ему главное самим собой оставаться, Алику. И среди кого угодно он останется самим собой, а к Соколовским ему надо было подлаживаться, и он не выдержал. Я знала, знала, что так и будет!

Во все время допроса она курила трубку — занятие, которое требует вдумчивости и неторопливости: между тем все ее движения, мимика, фразы резались какими-то молниеобразными зигзагами.

— Почему Костурич тогда ушел, оставив ребенка, не вспомните ли? — спросил Всехсвятский осторожно. Он так и думал, что этот вопрос ее обидит. Она взметнулась, как восклицательный знак: она не видит в этом ничего удивительного, ребенок к ней привык, они старые друзья, что ж он, пришит к сыну, что ли?.. Куда он пошел? Откуда ей знать, она не привыкла спрашивать у людей отчета, мало ли куда ему могло понадобиться, ушел и ушел; это самое отвратительное, когда человека все время спрашивают: куда, зачем? За ним никто не заходил, ему не звонили? А если звонили? Да, кажется, звонили — ну и что? Мало ли какие могли быть причины, ведь мы все-таки взрослые люди... Не знаете ли, кто звонил, по какому по... Не знает она, она не подслушивает телефонных разговоров, она считает, что если человек отворачивается и понижает голос по телефону, то это делается не для того, чтобы его лучше расслышали те, кто в комнате. А Алик сперва спрашивал: это кто, это кто? — а потом понял, видно, и тогда стал тихо говорить, а потом сказал: «Я сейчас сам приеду!» — это уже громко сказал и повторил: «Еду! Еду!»

Конечно, она не знает, кто это мог быть, хотя она и знает всех Аликовых знакомых, потому что она ему действительно близкий человек — нет, пусть он не смотрит с таким выражением, близость может быть и не такая, как он думает; нет, этих людей она никогда не видела (он предъявил ей три фотографии, среди которых была и яковлевская), она не ошибается, у нее память на лица — она художник-шрифтовик, на худкомбинате много зарабатывает, а Алик был гораздо способнее, чем она, но связался с этой геологией, а потом читал какому-то старому дураку... Нет, сам он никому не звонил... Ее попросил позвонить Жукову перед самым уходом, но Жукова не было дома. Да, Жукова она знает — ну, у этого деньги есть, он ведь все поделки, что ребята делают, среди своей клиентуры сбывает. Вот это мужчина для Соколовских — порядочный, приличный, с заработком. Нет, сам Жуков не работает с камнем — это ведь дело засасывающее, и потом все-таки кое-что нужно для этого, кроме старательности... В стерильной атмосфере искусство не зарождается...

Всехсвятский думал, что мог бы ее зарисовать — комбинация из углов до сорока пяти градусов, очень нетрудно и очень современно. А если пририсовать шляпку — получится иллюстрация к Диккенсу.

Яковлев не был многословен. Он не опознал никого на трех предъявленных фотографиях (одна — Костурича), он никому не рассказывал про свои телефонные звонки — и зачем бы? — он готов ответить по всей строгости... Всехсвятскому он показался не таким хлопотливым, как в прошлый раз, но более озабоченным. И опять подивился Всехсвятский, что этот человек в трезвом уме и твердой памяти звонил и угрожал.

Допрос Баскакова, «мужа Марьи Николаевны», не дал никаких видимых результатов. Он был трезв, уныл и, казалось Всехсвятскому, внутренне примерялся: а не попросить ли у следователя на маленькую? И понимал, что нельзя, но бредовая эта мысль вилась вокруг него во все время допроса. Был он похож на пощипанного петушка, который все еще хорохорится; тщедушное тело, посиневшее, в кулачок сжавшееся лицо, свалявшиеся вокруг плеши волосы, по виду и цвету похожие на войлок, но голову он еще вскидывал. Кроме идеи — а не попросить ли?..— у него была еще одна: моя Марья Николаевна... Произносил он это имя с гордостью и горечью: моя Марья Николаевна этого бы не позволила... моя Марья Николаевна жалеет всех, она дает заработать...

Конечно, он не звонил Соколовскому, он и не знал даже, кто такой Соколовский. Знал, что у Алика есть тесть, но кто таков — не знал, ему и ни к чему было, он лично никогда под судом и следствием не был, даже свидетелем никогда не был, и если бы не вино, то, может, он бы и теперь работал, ведь раньше он ка-

кой работник был — наладчик! И за него самая хорошая девушка пошла в его деревне — вот Марья Николаевна его. И она первое время все просила: уедем, говорит, обратно в деревню, там у нас хорошо — а там у нас и правда хорошо. А я, дурак такой, все за этот город держался — а зачем, спрашивается, держался? А потом я говорю: ну, Мария, давай, что ли, в деревню? — а она говорит: нет уж, говорит, чего я теперь там делать буду, тут я завотделом гастронома, а там в сельмаге, что ли, буду торговать? А он знает, почему она не едет, и все пошло у них наперекосяк. Да нет, этих вроде он никогда не видал (опять три фотографии с Яковлевым в середине), нет, и по телефону он не звонил Алику в тот день, хотя Алик тоже его спрашивал: это ты мне звонил? А чего он будет ему звонить, народу у гастронома и так хватает: есть кого угостить! Ну, уж когда его встретили — другое дело, раньше Алик угощал, когда был при деньгах, а тогда у него самого деньги были — он его и позвал, забыл, что он такой невыдержанный. Другой человек выпьет, ну, пошумит немного, а потом уберется куда-нибудь, а этот уйдет — и вернется, уйдет — и вернется, и все ему мало, и еще руками размахается. Вот и домахался до драки — уж он и не помнит, как эта драка получилась. Может, и тот полез спьяну — вроде все выпивши были уже.

Всехсвятский собрал все протоколы и пошел в машбюро:

— Анечка, любчик, напечатайте мне вот это. Четыре экземпляра.

Анечка, новая машинистка, хихикнула и сказала:

— Как вы смешно говорите!

— Я одессит, Анечка, а это значит... Медея Перикловна, подтвердите этой гражданочке, что я одессит.

Медея Перикловна сказала серьезно:

— Товарищ Всехсвятский в самом деле одессит.

Анечка сложила руки на столе и сказала:

— Товарищ Всехсвятский! Не смешите меня, пожалуйста! А то я наделаю ошибок.

— Ошибок вы и так наделаете. Анечка, чем вы мажете свои веснушки? «Метаморфозой»?

— Я ничем не мажу, что вы!..

— Мажете, конечно. А зачем? Будет вам сорок лет, захотите вы, чтобы они были, а их не будет. Это весна, молодость. К веснушкам, знаете, что идет? Фиалки. Анечка, постарайтесь, чтобы веселое настроение не отразилось на качестве машинописи. Мы не должны допускать брака в работе.

Он ушел, напевая про фиалки. Анечка развела руками и сказала:

— Смешной он у вас — сил нет.

Медея Перикловна сказала:

— Ему нужна разрядка. Ведь он каких только подонков не допрашивает! Вот зайдет сюда, посмотрит на ваши веснушки и развеется.

— Дались вам мои веснушки! — сказала Анечка с досадой.— «Метаморфоза»! Кто теперь мажет «Метаморфозой»? Есть крем импортный...

Всехсвятский прошел мимо своей двери, заглянул за поворот коридора и увидел Костурича. Сгорбленный, обмякший, он был похож на надувную куклу, из которой выпустили воздух. Почувствовав, что кто-то остановился рядом, он поднял глаза, узнал Всехсвятского и приосанился.

— Заходите, Костурич,— сказал Всехсвятский.— А вы, товарищ Литошко, пойдите в столовую, пообедайте.

— Да я обедал уже, товарищ подполковник...

— Ну, поужинайте. В общем, на шестьдесят минут вы свободны.

В кабинете никого не было.

— И наконец мы вновь наедине! — сказал Всехсвятский.— Садитесь, Костурич. Давайте поговорим.

— Поговорим по душам! — сказал Костурич.— В журнале «Юность» была когда-то такая рубрика. Там статьи о воспитании печатались. Я в детстве читал.

— Мда! — сказал Всехсвятский.— Не хочется придираться к слову, но вы, видимо, сделали из своего детского чтения не совсем правильные выводы.

— Ну что вы! — вежливо не согласился Костурич.— Я на свое детское чтение не в обиде. Тогда главные споры о стилягах шли. Некоторые передовые авторы допускали, что стиляги тоже люди.

— Было,— согласился Всехсвятский.— Потом пошла романтика странствий, «Звездный билет»...

— «Апельсины из Марокко»,— продолжал Костурич.— Товарищ Всехсвятский, я знаю, что тут вопросы задаете вы, а мое дело — утолить вашу любознательность. Но все-таки разрешите мне задать вам вопрос? В виде исключения.

— Разрешаю.

— Вот вы меня вызываете, сокращаете мой рабочий день... Я понимаю, мой вопрос наивен. Но... неужели вы думаете, что... Ну, скажем так: неужели вы думаете, что это я звонил? Ну, пугал по телефону?

Всехсвятский молча смотрел на него, склонив голову к плечу, как бы размышляя...

— Ведь это же несерьезно. Алла узнала бы мой голос. Я это потому, что... зря вы на меня тратите время. Это не я звонил. И мне ни к чему это было. Конечно, я перед Никодимом Ефимовичем... перед покойным Никодимом Ефимовичем... я перед ним не без вины виноват. Я просто виноват. Ну, наверное, Алла вам рассказывала. Может, я и кричал черт знает что, и грозил ему, и все такое. Но я не звонил.

Всехсвятский сказал:

— Я вам на ваш вопрос отвечу. Нет, я не думаю, что вы звонили. Больше того: я знаю, что звонили не вы.

— И знаете, кто звонил?

— И знаем, кто звонил.

— Ну, слава богу! — сказал Костурич.— То есть я не то хотел сказать. Это все, конечно, ужасно. Но я... Я, признаться, думал, точнее говоря, не думал, а прикидывал... Уж после того, что вы меня вызывали. Я ведь, когда вы меня вызвали, другого испугался.

Всехсвятский поднял брови:

— Чего же вы испугались?

— Я думал, что-нибудь случилось с этим... с Фоминым. Я ведь во хмелю себя не помню, жуткое что-то происходит со мной, я и сам не рад. Ну, а когда оказалось, что дело не в Фомине, я и стал прикидывать. Ведь отношения с тестем... с бывшим тестем у меня, как говорится, не заладились. Правда, не с самого начала. Это уж он потом говорил, что с самого начала меня раскусил. Что он там мог раскусить, когда... А впрочем, может, и правда. Он все меня воспитывал, а я, правда, жутко не любил, когда меня воспитывают.

— С какого же времени у вас испортились отношения?

— Не сразу. Такого резкого переломного момента, пожалуй, не было. Но, наверное, это все пошло под откос, когда мы захотели отделиться. Была возможность записаться в кооператив — у Аллы на работе.

— И вам не позволили?

— Тут не только позволение надо было. Из одного позволения квартиру не выстроишь!

— Деньги?

Костурич кивнул и покраснел.

— Вы не думайте, что я считал, что они обязаны...

— Не считали, что обязаны, но на них рассчитывали.

Костурич снова кивнул.

— Ну, и они отказали?

— Не они. Я к Полине Федоровне и не обращался. Я с Никодимом Ефимовичем говорил. У Полины Федоровны не было возможности.

— А у Никодима Ефимовича, значит, была?

— Была, да не про мою честь. Примерно так он мне и сказал. Он не хотел, чтобы Алла со мной еще крепче связалась. Он все ждал, когда мы разойдемся. Он мне говорил: человека судят по его делам, а не по разговорам. Конечно, он был прав — по-своему. Но, в общем, после этого я и закрутился. Съехал от них, и с Аллой все так пошло...

Опять он сидел поникший — пустая, грустная кукла, без мускулов, без воли.

— Пить надо бросить,— сказал Всехсвятский.— Вот уж сколько дней живете без выпивки — и ничего!

— Ничего, только выпить охота,— улыбнулся Костурич.

— Тяжелое положение! Значит, вы считаете, Соколовский виноват в том, что у вас разрушилась семейная жизнь?

— Я его не виню, да и не винил никогда. Я же говорю вам: он был по-своему прав. И вроде вся моя дальнейшая жизнь показала, что он был прав. Может, если бы я был на его месте, я бы тоже не поверил. Если бы я был на его месте и был бы такой же, как он. Но и то мне кажется, что деньги бы я дал. Не поверил бы, а все-таки дал бы.

— Да,— вздохнул Всехсвятский,— не так легко человеку поставить себя на место другого.

Значит, у Соколовского были деньги на книжке? Вдова ничего такого не говорила. Видно, такие небольшие деньги, что и говорить не о чем. А этот вымогал... Если только вымогал. Если не пытался ограбить.

Костурич себя закапывает. С завидным усердием. Что ни слово, то целая лопата. Играет в простодушие?

— Вы мне в прошлый раз так и не сказали, зачем ни с того ни с сего поехали в кино.

— Не сказал,— подтвердил Костурич.— Я никак не мог понять, куда вы гнете, зачем вам знать, по какой причине я решился посетить кинотеатр. Личная тут была причина. Позвонили мне — даже не знаю, кто в точности: Алка твоя тут в кино пошла с хмырем в дубленке, мы им морды начистим. Я говорю: да бросьте, ребята, да кто это? Они бряк трубку. Я и поехал. Есть у меня такой приятель, действительно в дубленке ходит. Я его, между прочим, просил от Аллы отстать.

Жуков ничего об этом не говорил, помнится. Вероятно, считал, что это не идет к делу.

— ...Но я так понял, что ничего у них нет; а тут звонок этот. Кто-то из ребят, наверное. В общем, я поехал. Мало ли что! Могли действительно на них накинуться, морду ему набить. В общем, поехал я. Со мной их бы уже никто не тронул.

— Вы, значит, собирались ждать конца сеанса?

— Видите, у меня там контролерша знакомая, еще с тех пор, как я там жил. Она бы меня в зал пропустила, она нас с Аллой всегда пропускала, если мы опаздывали. Но мне не понадобилось: я сразу ребят встретил, которые звонили. Как сошел с троллейбуса — сразу их встретил.

— Кто же из них вам звонил?

— Не знаю. Наверно, муж Марьи Николаевны, хотя он и отрицает.

— Почему вы так думаете?

— Ну, он такой... он сам такой... Жена у него с другим... Скорее всего он.

— Значит, после звонка вы сразу уехали?

— Нет, еще позвонил одному.

— Кому?

— Тому самому, в дубленке.

— Как его зовут?

— Кирилл. Кирилл Жуков.

— Но ведь, если я правильно понял, вам сообщили, что он в кино. Почему же вы стали ему звонить?

— На всякий случай. Мало ли что! Но его не было, а ребята мне сказали, что Алла одна уехала. Они видели. Я думал уйти, но тут угостить меня захотели... А потом я уже совсем ушел — и ее встретил. Она с Лодькой домой шла и смотреть на меня не захотела. И я опять вернулся. А потом... нашелся этот Фомин на мою голову.

— Получается, вы были в районе кино примерно около восемнадцати часов,— сказал Всехсвятский.

— Возможно,— сказал Костурич равнодушно.

Всехсвятский все смотрел на него, и рутина допроса вдруг показалась ему лишней.

— В это самое время неизвестный убил Соколовского в его собственной парадной,— медленно сказал он.

Костурич побледнел: он понял.

— Выходит, я сам себя закопал? — спросил он, помолчав.

Всехсвятский сказал:

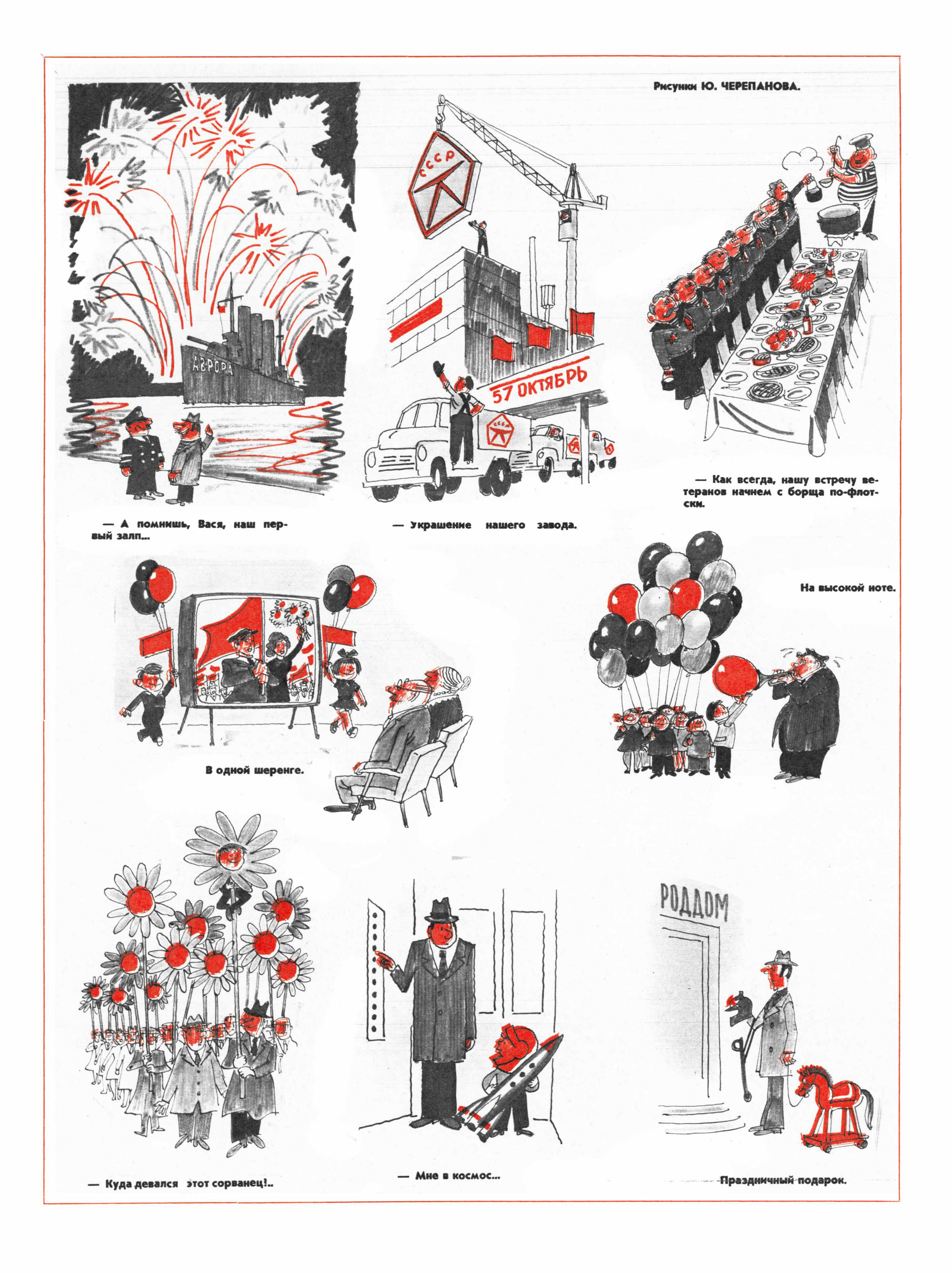
— Расскажите подробно, что вы делали после того, как встретили этих своих... друзей. Все ли время вы были вместе или вы уходили?

Костурич махнул рукой:

— Лишнее все это, лишнее!

И опять обмяк на своем стуле.

Продолжение следует.



Рисунки Ю. ЧЕРЕПАНОВА.

— А помнишь, Вася, наш первый залп...

— Украшение нашего завода.

— Как всегда, нашу встречу ветеранов начнем с борща по-флотски.

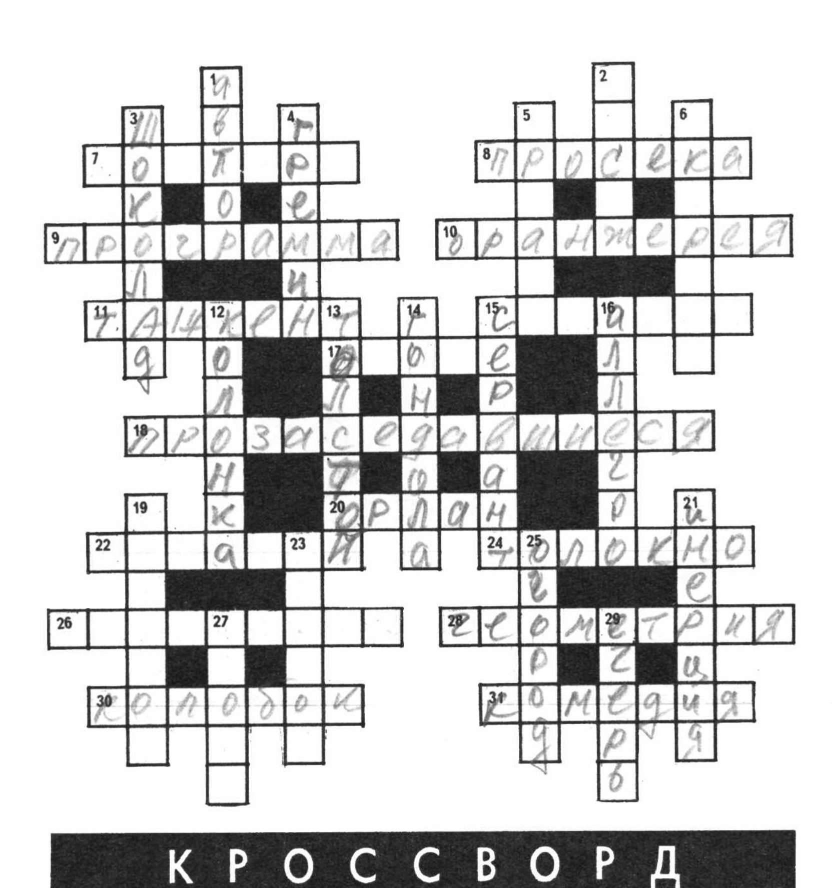
В одной шеренге.

На высокой ноте.

— Куда девался этот сорванец!..

— Мне в космос...

Праздничный подарок.



КРОССВОРД

По горизонтали: 7. Рассказ И. С. Тургенева из «Записок охотника». 8. Вырубка в лесу. 9. Перечень номеров, исполняемых на концерте, цирковом представлении. 10. Участок ботанического сада. 11. Столица союзной республики. 15. Река в США. 17. Порт в Польше. 18. Стихотворение В. Маяковского. 20. Птица семейства ястребиных. 22. Горный массив на Южном Урале. 24. Овсяная мука. 26. Глагольно-именная форма. 28. Часть математики. 30. Русская народная сказка. 31. Вид драматического произведения.

По вертикали: 1. Создатель произведения, проекта. 2. Стеклянные цветные шарики. 3. Кондитерское изделие. 4. Действующее лицо оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин». 5. Столбец типографского набора. 6. Духовой инструмент. 12. Водоразборное устройство. 13. Великий русский писатель. 14. Венецианская лодка. 15. Низкий буфет. 16. Музыкальная пьеса, исполняемая в быстром темпе. 19. Русский флотоводец. 21. Свойство тел сохранять состояние покоя или движения. 23. Персонаж пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня». 25. Участок земли для выращивания овощей. 27. Сорт яблок. 29. Специалист в охотничьем хозяйстве.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 44

По горизонтали: 6. Хореография. 8. Профессор. 9. Боголюбов. 13. Нонет. 14. «Черкесы». 15. Антарес. 16. Слива. 18. Пиренеи. 19. Шевцова. 24. Анонс. 26. Планшет. 27. Пастель. 28. Кутум. 30. Солигалич. 31. Балалайка. 32. Ботанизирка.

По вертикали: 1. Голсуорси. 2. Керосин. 3. Самолет. 4. Чиполлино. 5. Картофель. 7. Хронометр. 10. Мундир. 11. «Псковитянка». 12. Владивосток. 16. Схема. 17. Аверс. 20. Целлулоид. 21. Понтон. 22. Орловский. 23. Детонатор. 25. Каравайка. 28. Капитан. 29. Малахит.

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ: Фотомонтаж Г. Копосова.

НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ: Осень золотая.
Фото В. Матвеева. (Москва).
На фотоконкурс.

Главный редактор — А. В. СОФРОНОВ.

Редакционная коллегия: Д. Н. БАЛЬТЕРМАНЦ, С. А. БАРЧЕНКО, И. В. ДОЛГОПОЛОВ (главный художник), Л. М. ЛЕРОВ, В. Д. НИКОЛАЕВ (заместитель главного редактора), Ю. С. НОВИКОВ, Ю. Н. СБИТНЕВ (ответственный секретарь), Н. П. ТОЛЧЕНОВА.

Адрес редакции: 101456, Москва, А-15, ГСП, Бумажный проезд, 14.

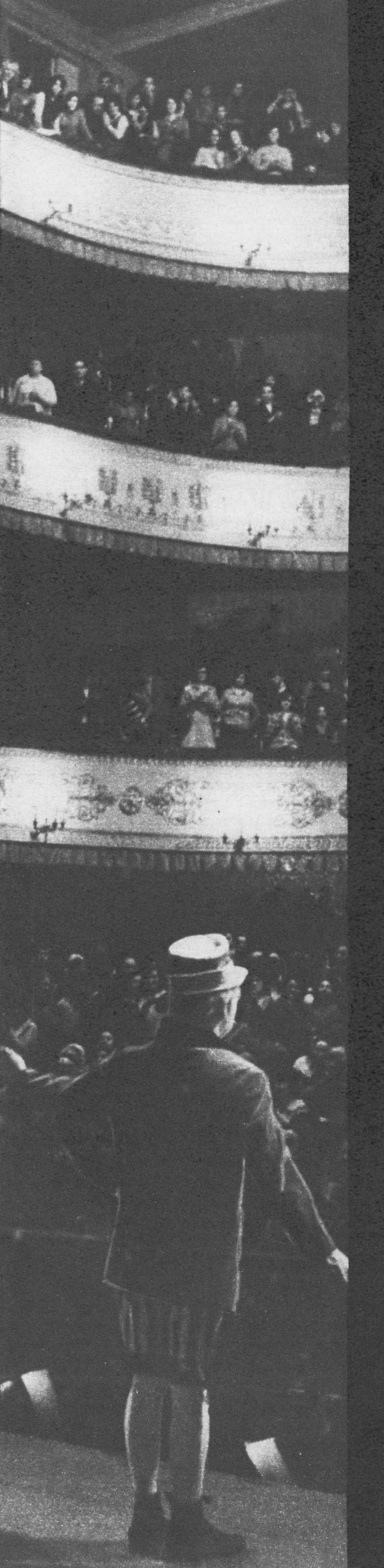
Рукописи не возвращаются.

Оформление Е. М. КАЗАКОВА

Телефоны отделов редакции: Секретариата — 253-38-61; Отделы: Репортажа и новостей — 253-37-61; Международный — 253-38-63; Социалистических стран — 250-24-21; Искусств — 250-46-98; Литературы — 253-38-26; Военно-патриотический — 250-15-33; Науки и техники — 253-31-47; Юмора — 253-39-05; Спорта — 253-32-67; Фото — 253-39-04; Оформления — 253-38-36; Писем — 253-36-28; Литературных приложений — 253-38-52, 253-32-45.

Сдано в набор 14/X—74 г. А 00657. Подп. к печ. 29/X—74 г. Формат 70×108¹/₈. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Изд. № 2456. Тираж 2 070 000 экз. Заказ № 2874.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП, улица «Правды», 24.



ОПЕРЕТТА — ЗРЕЛИЩЕ ОСОБЕННОЕ

Оперетта. Что это! Может быть, сказка для взрослых! Переливающаяся всеми красками, веселая, остроумная, где побеждают шуткой, ослепляют танцем, а песней объясняются в любви!..

— Все это так,— отвечает народная артистка РСФСР Татьяна Шмыга.— Но и в оперетте есть настоящая правда. В каждой роли есть своя тема, которая исходит из человеческой сути образа. Для меня при всей наивности наших пьес, каскадах и прочем это тема чистоты, честности, добра... Почему-то многие считают, что артист оперетты и в жизни должен быть невероятно легкомысленным. Конечно, это не так. Но мы, артисты оперетты, должны уметь легко идти вслед за своей фантазией, творя по ее эскизам. А с годами, к сожалению, становится все труднее верить в наши, почти всегда невероятные, опереточные ситуации.

В самой Татьяне Шмыге, когда она не на сцене, пожалуй, нет ничего от традиционного образа опереточной звезды. Очень серьезная, внимательная, без всяких внешних эффектов. Фотографируется почти всегда в очках.

— Я и в детстве была очень серьезной и молчаливой. Хотела быть камерной певицей и даже поступила стажером в училище при Московской консерватории. Потом пела в хоре, выступила, правда, всего один раз,— перед началом сеанса в кинотеатре «Экспресс». А вскоре этот кинотеатр закрылся. Надеюсь, не из-за моего пения, — улыбается Татьяна Шмыга.

В Московский театр оперетты она пришла, окончив отделение музыкальной комедии в Государственном институте театрального искусства, где руководителем ее был народный артист СССР И. М. Туманов.

В настоящее время театром руководит талантливый и взыскательный художник Георгий Павлович Ансимов, пытливо, вместе со своим коллективом, прокладывающий новые пути советского музыкального театра.

Да, это и впрямь особенное зрелище — оперетта. Артисты, кажется, чуть-чуть подшучивают — и над своими героями, и над зрителями, и над собой. Однако обязательно наступает момент, когда актер вдруг высказывает что-то очень важное для него, очень личное, словом, свое. И тогда открывается та самая правда, о которой говорит Татьяна Шмыга,— правда чистоты, честности и добра. И становится понятно, почему она сама так бесстрашна в своем искусстве, так бесконечно разнообразна в средствах выражения.

— Почему шепот — это современно, а слезы — старомодно! — спрашивает она.— Старомодна, по-моему, только скука!

Чтобы зрителю было интересно и весело, Татьяна Шмыга ежедневно тратит многие часы на занятия вокалом, танцем, гимнастикой. Видя, как проделывает она свои упражнения, трудолюбиво и старательно, словно дебютантка, невозможно поверить, что вечером она, неповторимо артистичная, выйдет на сцену героиней, удачливой и смелой, а в голосе ее зазвучит нетерпеливое ожидание радости и любви.

— Все зависит от тренажа. Значит, от себя самой.

— А что вам больше всего доставляет забот!

— Голос... Я никогда не считала себя даже вокалисткой, а вот пою в театре уже двадцать лет. Но голос, он ведь так капризен...

Как же рождается на сцене герой, персонаж! Разумеется, можно проследить внешнюю сторону работы артиста. Но есть еще и чудо возникновения образа...

— Здесь импульсом для фантазии иногда может послужить самая неожиданная деталь. Например, в «Конкурсе красоты»,— рассказывает Татьяна Шмыга,— у меня есть номер, где я, как мы говорим, «делаю» Чаплина. Вообще-то я стеснительная, а здесь нужно быть озорной, смелой, Чаплина пародировать! Я боялась, думала: как же на сцену-то выйду!.. А потом костюм надела — и вдруг будто в другую кожу влезла!..

Очень влияет на внутреннее самочувствие грим. Даже яркий маникюр. Эта яркость порою сразу выбивает из образа. Однажды я спросила у одной нашей молодой актрисы: «Как вы можете выходить с маникюром в «Фиалке Монмартра»!» Она удивилась: «А что!.. Мне не мешает».

Я терпеть не могу, когда мне говорят: «Играйте, как в жизни». То, что происходит в оперетте, в жизни не бывает. На сцене все должно быть преображено фантазией, смещено, спародировано. Артист в сердце своем должен создать этот буффонный миражный мир. Разумеется, мы не должны браться за все: нельзя объять необъятное. Поэтому самая большая опасность для нас, артистов оперетты,— это наивная вера в свое всемогущество.

Татьяна Шмыга без грима.

— Что вы еще любите в искусстве?

— Балет, пантомиму, мультипликацию. Когда по телевизору «мультяшки» идут, меня зовут первую, словно ребенка.

Кино?.. Когда-то я снималась в «Гусарской балладе». Сейчас мне хотелось бы сыграть драматическую роль. Но к опереточным артистам, как правило, не относятся серьезно...

— А снится вам оперетта?

— Очень часто! Только я всегда во сне опаздываю на выход, ищу грим и не могу его найти, или в последний момент у меня отлетают все пуговицы. Словом, обычные актерские сны, ничего оригинального...

Говорят, что актер играет своего героя или «близко» к себе, к своей индивидуальности, или «далеко» от себя. Наверное, так оно и есть. Но вот Татьяна Шмыга, по-моему, всегда играет близко к себе. И даже в отрицательных ее персонажах,— скажем, в Нинон из «Фиалки Монмартра»,— она открывает прекрасные человеческие качества, показывая гордость актрисы, умение заставить себя быть веселой и вдохновенной, несмотря на личную драму... Нет, Шмыга не способна с легкостью демонстрировать расхожие опереточные характеры. В своем артистическом поиске она всегда идет дорогой правды. А дорога эта проходит через ее сердце.

— Так какими же все-таки должны быть артисты оперетты? — спрашиваю я актрису.

— В идеале очень добрыми. Милыми и веселыми. В наше время не очень-то модно говорить о возвышенных чувствах, и многие как-то даже стесняются своей способности к душевному порыву. Но привычка к постоянной, внешней непроницаемости порой прирастает к человеку, и маска начинает влиять на его сущность... Убеждена: для артиста оперетты неспособность испытывать высокие чувства становится трагедией. Потому что, если у тебя нет ничего за душой, тебе в оперетте играть нельзя!

Я слушаю ее и все время вспоминаю Шмыгу — Нинон, исполняющую «Карамболину». И мне кажется, что ее куплеты, ее танец — это и есть образ счастья... И я спрашиваю артистку, что же нужно ей самой, чтобы чувствовать себя счастливой.

— С годами что-то теряешь, что-то приобретаешь в своем искусстве. Но оно остается счастьем, пока можешь ему служить.

...Так, вместе с дружным коллективом московского театра, вдохновенно работает, неотделимая от этого коллектива одна из многих талантливых актеров театра оперетты народная артистка РСФСР Татьяна Шмыга.

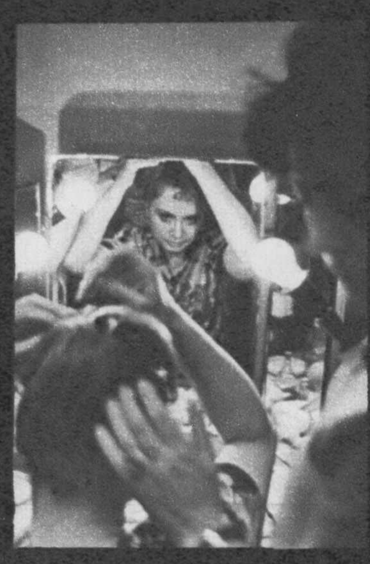
Андрей БАТАШЕВ
Фото Э. Эттингера

Репетирует художественный руководитель Московского театра оперетты народный артист РСФСР Г. П. Ансимов.



«Севастопольский вальс».





В гримерной.



«Конкурс красоты». Антракт.



Татьяна Шмыга в «Девичьем переполохе».

Поиски мизансцены.



«Фиалка Монмартра».


Цена номера 30 коп.
Индекс 70663